



Вадим Бабенко

Простая Душа

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8272483

Простая Душа / Вадим Бабенко: Ergo Sum Publishing; Москва; 2014

ISBN 978-99957-42-21-8, 978-99957-42-22-5, 978-99957-42-23-2

Аннотация

Его хитрому плану не суждено сбыться. Ее надеждам не выбраться из тупика. Они расстанутся, но навсегда ли? Куда заведет игра, казавшаяся невинной?

С Елизаветой, привлекательной москвичкой, происходят странные вещи. За ней следят, она получает цветы, подарки, анонимные звонки. Все это дело рук ее бывшего любовника, Тимофея. Он теперь живет в провинции и имеет успешный бизнес, но его благополучие оказывается под угрозой, когда в него влюбляется дочь местного авторитета. Тимофей знает, что не может отказать просто так, и изобретает схему с фиктивным браком, в которой Елизавете отводится главная роль. Умело манипулируя ее чувствами, Тимофей убеждает Елизавету помочь ему, но тут события принимают неожиданный оборот...

Романтическая история превращается в борьбу за выживание. Герои ищут каждый свое и находят вовсе не то, что искали. Иллюзии оказываются сильнее реалий. А совпадения – не такими уж случайными.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	23
Глава 5	28
Глава 6	35
Глава 7	42
Глава 8	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Вадим Бабенко

Простая душа

Все персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.

Глава 1

Июльским утром жаркого високосного лета Елизавета Андреевна Бестужева вышла из дома на улице Солянка, где жил ее последний любовник, замешкалась на мгновение, щурясь на солнце, потом расправила плечи, гордо подняла голову и зашагала по тротуару. Было около десяти часов, но утренняя суeta еще не пошла на убыль – Москва готовилась к долгому дню. Елизавета Андреевна шла быстро и смотрела прямо перед собой, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Все же, у поворота на Солянский проезд, на нее надвинулся настыр-ный зрачок, но тут же обратился витринным муляжом в виде огромного зеленого глаза, в который она с удивлением заглянула и отметила лишь, что он безнадежно мертв.

Потом она повернула налево, мрачный дом скрылся из вида. Елизавета с облегчением почувствовала наконец, что предоставлена самой себе, гоня прочь мысли о минувшей ночи и необходимости что-то решать. От любовника она устала, и быть может поэтому их встречи становились все бесстыдней. Утром ей хотелось смотреть в сторону и расставаться поско-рее, даже без прощального поцелуя. Но он был настойчив, ритуал его прощаний обволаки-вал, как вязкий туман, и после она всегда сбегала по лестнице бегом, не доверяя лифту. А потом – спешила прочь от серого здания, как от мышеловки, из которой удалось счастливо ускользнуть.

Елизавета Андреевна глянула на часы, покачала головой и прибавила шаг. Тротуар был узок и запружен людьми, но она шла легко, не замечая помех – встречающих прохожих, ухабов и рытвин, луж, оставшихся от ночного дождя. Неустроенность города не смущала ее, но какое-то новое беспокойство шевельнулось вдруг внутри и поползло по спине холодной щекоткой. Почему-то казалось, что тот самый глаз наблюдает за ней, полуприкрыв веки. Чудилось, что она не одна, а будто связана с кем – то тончайшей нитью – она даже дернула плечами, отгоняя наваждение, но тут же укорила себя за глупость и вновь погрузилась в собственные мысли.

Вскоре показалась Старая Площадь: сначала церковь – там, где когда-то наблюдали казни – а потом торговая часть, заставленная ларьками и авто, припаркованными без вся-ких правил. Елизавета лавировала, как шустрый лоцман, сетуя на грязь под ногами, будто оставшуюся от прежних веков, когда здесь же, на Старой, ноги вязли по щиколотку, а купцов хлестали по щекам и пороли розгами за сапоги с бумажными подметками. Добравшись до хлипкой ограды, в которой, по странному замыслу, не было предусмотрено входа, Елизавета Андреевна покачала головой, потом изящно переступила через массивную цепь, и оказалась в сквере, дышащем прохладой, вожделенной уже и в это, далеко не полуденное время.

Начался подъем – длинный путь в гору, символ преодоления, достойный городского утра. Елизавета подмигнула Кириллу и Мефодию, скучно взирающим на табличку «От Бла-годарного Отечества» – словно в насмешку над Отечеством, никогда не умевшем быть бла-годарным – обогнула лавочку со спящим бомжом, от которого невыносимо воняло, и, поко-лебавшись немного, пошла по левой пешеходной дорожке, на которой, в сравнении с правой, было чуть больше тени. Над Москвой вставало марево очередного душного дня. Сквер был полон людей – жертв утреннего похмелья с банками пива в руках, сбежавших сюда из близ-

лежащих контор. Открытая пивная тоже не пустовала, официантка лениво прохаживалась меж столиками, зная свою власть. Елизавета посматривала по сторонам, сканируя недружелюбную местность, бесстрастно отмечала скопления страждущих, но не различала лиц, бесцветных для нее, одинаково закрытых и погруженных в себя. Она шла, почти не затрачивая усилий, представляя себя парящей над тротуаром, скудной зеленью и загаженными кустами, и лишь однажды сбилась с шага, вновь ощутив на себе чей-то скрытый, но настойчивый взгляд. Это могла быть ошибка, и, скорее всего, была ошибка, но на душе все равно стало тревожно, и мысли смешались в беспорядочный ворох.

Тем временем подъем закончился, солнечные лучи резанули глаз, запахло асфальтом и сожженным бензином. Елизавета, постояв у светофора, пересекла проезжую часть и вышла к зданию Политехнического музея, спасавшему от солнца куда лучше чахлах деревьев. Музей переживал плохие времена – быть может худшие с того давнего века, когда на его месте был зверинец с индийским слоном, что взбесился однажды, не стерпев настойчивости зевак. Судьба музея, как и судьба слона, давала повод для сожаления, но у Елизаветы Бестужевой хватало собственных забот. Тревога все не проходила, она даже оглянулась через плечо – без всякого конечно результата – и, помедлив, остановилась у застекленной афиши, наблюдая зыбкие отражения. Все они были безобидны, и она фыркнула с досадой на саму себя, а потом прочитала текст под стеклом, приглашавший послушать о разнообразии упаковок в некоем Клубе Упаковщиков, что нашел пристанище в обнищавшем здании, и ей стало весело на миг, а тревога обрела мистически-иноземный налет.

Миновав музей, Елизавета Андреевна рассеянно глянула на грозную Лубянку и спустилась под землю, чтобы выйти у станции метро, прямо возле Малого Черкасского, где находился ее офис. Вновь посмотрев на часы, она заторопилась, семеня по лестнице вверх, но прямо у выхода обнаружили вдруг книжные лотки, и Елизавета, не утерпев, подошла к книгам и стала рассматривать обложки. Что-то привлекло ее внимание, она открыла увесистый черный том, но тут ее толкнули под локоть, и книга выпала из рук, сразу создав на лотке живописный хаос. Возникла суеда, низкий мужской голос пробормотал извинение, а хозяин лотка бросился наводить порядок, опасаясь кражи. Елизавета рассеянно ответила «да-да» голосу, обладателя которого так и не успела рассмотреть, отошла чуть в сторону и раскрыла другую книгу в ярком цветном переплете. Содержание, впрочем, оказалось слишком серьезным, а чуть ли не на второй странице красовался треугольник, выведенный во весь лист, и она сразу вспомнила прочитанное где-то: треугольник – гордая фигура, ей подневольны души. Это был несвоевременный знак – глупый намек, граничащий с издевкой. Елизавета смутилась, украдкой глянула по сторонам и, положив книгу на место, заспешила прочь от лотков, к старому пятиэтажному зданию, где ютились мелкие фирмы и конторы небогатых госслужб.

Маша Рождественская, называвшая себя Марго, компаньонка Елизаветы и убежденная эмансипэ, встретила ее покладисто, будто и не заметив опоздания. Причина была проста – Машу разбирало любопытство. Незадолго до появления Елизаветы Андреевны к ним поступался посыльный и вручил оторопевшей Маше большой букет роз, обернутый в золотую фольгу. «Для госпожи Бестужевой», – коротко сообщил он и ускользнул, словно растаял в московском смоге, а на визитке, пришпиленной к краю фольги, было написано лишь: «Воздыхатель» – игривой вязью с завитками.

Маша никогда не видела таких визиток и была безмерно удивлена. За два года, проведенных вместе в душной комнате, почта не доставляла сюда ни цветов, ни завалящего любовного письма. Нынешнее событие было из ряда вон, и на запыхавшуюся Елизавету, едва она переступила порог, обрушился град вопросов.

Увы, все они остались без ответа. Елизавета Андреевна была озадачена не меньше Маши, и та поняла очень скоро, что от нее ничего не пытаются скрыть. Произошедшему не находилось объяснения; пришлось принять как факт, что у Бестужевой завелся тайный поклонник, и это было столь странно, что скорее раздражало, чем казалось волнительным и забавным. Ничего тайного не было в ее жизни, а поклонников она выбирала сама, не слишком рассчитывая на случай.

«Знаешь, – задумчиво сказала она Маше, – я еще остановилась у лотка, а там книга... Открываю, представляешь – и сразу треугольник, сама не знаю к чему».

«Это от лихорадки, – пояснила Марго, прищурившись и не скрывая насмешки. – Треугольный заговор, лучшее средство. На бумаге пишут или по-старому, на звериной шкуре – снимает, как рукой».

«Брось ты, – оскорбилась Елизавета, – я серьезно. Треугольник – это душа, там и написано было – душа, мол, не тело есмь. И потом еще что-то, я не поняла, а в конце – дух есмь любовь...»

«Дух есмь любовь, – задумчиво повторила компаньонка, – ну-ну. Ты вообще не скучаешь, подруга, – резюмировала она, покачив головой, и добавила с укором: – Лизка-липка...» – так что Елизавете стало неловко. Она ответила рассеянной улыбкой и отправилась на поиски банки с водой, а Маша еще долго косилась на необычный букет, будто силясь подобрать-таки не подмеченный обеими ключ к разгадке.

Ревностная противница всяких тайнств, тем более связанных с противоположным полом, Маша Рождественская не верила ни в фигуры, ни в бесхозные букеты. В отличие от Елизаветы, ее отношения с мужчинами не заладились с юности и походили более на затяжную войну, нежели на воплощения грез. Многие считали, что ей недостает характера, а потому использовали ее без стеснения – получали требуемое и исчезали без следа, оставляя безутешную Машу залечивать сердечные раны. Потом душа ее огрубела, но каждый по-прежнему видел в ней лишь игрушку – это иссушало иллюзии и ранило посильней одиночества, с которым она начинала свыкаться. В конце концов, Маша предприняла контр-демарш, оказавшийся весьма успешным. Ей удалось переставить вещи наоборот, убедив сначала себя, а потом и прочих, что это она пользуется любовников почему зря – для удовольствий, денег, мелких подарков и услуг. Если же они пропадают слишком скоро, то обидного тут ничего нет, вокруг полно желающих, стоит только мигнуть.

Ее стали уважать и даже побаиваться иногда. Из жертвы она превратилась в подобие львицы с чуть затравленным взглядом, который приходилось прятать. Метаморфоза, однако, отняла много сил, и она теперь восстанавливала их по крупице, безжалостно отгоняя, как ненужную блажь, все, не подвластное рациональному цинизму. Странности любви и связанные с ними томления она трактовала по новой моде как неправильное устройство чего-то там в голове – вроде энергий разных цветов, не могущих достичь баланса. Чувства преходящи, цвета норовят смешаться и превратиться в серое. Даже и обсуждать тут нечего, выискивая надуманные смыслы, считала Маша на нынешнем этапе своей жизни. С куда большим удовольствием она говорила о прическах, картах Таро и особенно о собаках, которых обожала. Она даже спала в одной постели с мопсом, а свою борзую, не так давно умершую от старости, вообще считала инкарнацией чего-то, идентичного ей по духу.

С Елизаветой Андреевной они дружили не слишком, но и не враждовали в открытую. Работа была скучна, их туристическое агентство служило лишь фасадом в делах большого человека, имя которого не произносилось вслух. От фасада требовалась безупречность форм без всяких претензий на содержание. Бизнес не шел, принося в основном убытки, но какой-то молчаливый юноша аккуратно доставлял зарплату, вовсе немалую по московским меркам.

В целом, все были довольны. Маша с Елизаветой оклеили картинками стены, разбросали буклеты по подоконнику и столам, разжились тибетской музыкой и фигурками из

Китай. На правой от входа стене висели африканские маски, а напротив красовалась карта двух полушарий, исчерканная траекториями авиарейсов, словно подтверждая, что тут всегда готовы отправить желающих хоть на край света, если в том возникнет нужда. Большому человеку понравилось бы, загляни он сюда на досуге, но досуга у него не случалось к сожалению обеих компаньенок. Желаящие лететь куда-то тоже объявлялись не часто, так что девушки проводили дни в пространстве электронной Сети или за чтением книг, украшая собою не слишком шикарный офис, словно яркие бабочки пыльный куст.

Из них двоих Маша привлекала внимание первой. Темные ее волосы были без преувеличения роскошны, глаза – велики, полные губы – чувственны и порочны. Быть может, чуть подкачали широкие скулы, но кое-кто посчитал бы и это за достоинство, усматривая сходство с женщинами Заволжья, ненасытными в любовной страсти. В целом, облик ее и манеры настойчиво утверждали бурление жизни, хоть она и понимала уже, что жизнь бывает бледнее облика, и потому не чуралась эпатажа, особенно в обществе баловней судьбы, никогда, впрочем, не опускаясь до вульгарных неприличий.

В сравнении с ней, Елизавета Андреевна казалась золушкой, отодвинутой на задний план. Внешне они контрастировали разительно, и если вначале взгляд фокусировался на роковой Марго, то потом равновесие торжествовало, и трудно было сказать, кто имел больше шансов в долгосрочной схватке. Так или иначе, шлем русых волос Елизаветы прекрасно дополнял узкое лицо с изящным носом и зеленоватыми глазами – она походила на большую кошку, но только анфас, а в профиль напоминала странную птицу. Ко всему прилагались очень нежная кожа, узкие запястья и лодыжки – наследие аристократических предков, линии которых перепутались донельзя, подтверждаясь лишь фамилией и горделивой осанкой. Было известно, что одна из бабушек происходила из польской шляхты, и именно бабушкины гены, прыгнув через поколение, определили изящество и утонченность, а заодно быть может склонность к прагматичному романтизму, которую она старалась скрывать по неписанным правилам столичной жизни. Романтизма, впрочем, могло быть в достатке и в русских трех четвертях разветвленного рода, про который Бестужева не знала почти ничего – к немалому своему стыду. Стыдиться однако было не перед кем, да и мысли о прошлом посещали ее не часто. Ей вполне хватало настоящего со всей его суетой и себя – такой, какая она есть.

Елизавета, в отличие от многих, имела четкое представление о себе самой, равно как и о мире, в котором жила. Большая его часть находилась не снаружи, а у нее внутри, и легко поддавалась анализу, которым она, вполне по-женски, старалась не увлекаться чересчур. Кое-что, конечно, все равно приходило на ум, но главное было ясно без всяких умствований: она знала, что в ней умещается целая вселенная со своими собственными небесными телами. Некоторые из них были населены – до нее доносились голоса всех существ, живших внутри, несмотря на то, что их количество не поддавалось счету. Иногда они мучили ее, иногда радовали беспричинно; это находило отклик и в душе, отзываясь смятением или волнением, и в самом теле, проявляясь капризами физиологии. Свой невидимый мир Елизавета Андреевна считала лучшим из всех возможных.

Она замечала, что некоторые из окружающих тоже несут в себе миры – столь же совершенные в глазах их владельцев. Конечно же, это существенно усложняло жизнь: потому и сигналы от одних особей к другим часто бывают невнятные и трактуются кое-как, говорила себе Елизавета. Им нужно преодолеть слишком много преград – все-таки, оболочки не совсем прозрачны. Где уж тут дойти без искажений – да и, к тому же, у каждого в голове свой особый язык. Люди вообще беспомощны в донесении смыслов – странно, что они хоть как-то понимают друг друга. Ведь это так трудно – отвлечься на внешний раздражитель, воспринять морзянку или иной какой-то код, переводимый в слова с большим трудом...

Она бывала внимательна к чужим слабостям, за которыми, быть может, таились сложности частных мирозданий. Многие ценили ее за терпимость, но с теми, чей мир был пуст, она вела себя небрежно, даже и не пытаясь скрыть отсутствие интереса. Так получалось без злого умысла, она не считала себя лучше прочих, но – получалось и все тут, морзянка терялась в вакууме, и не было надежды на ответный сигнал. К сожалению, в число носителей вакуума попадало большинство знакомых Елизавете мужчин.

Тут же нужно добавить: в отличие от непримиримой Марго, она не питала неприязни к сильному полу. Главной вещью на свете Бестужева считала любовь – в ее традиционном, старомодном смысле. Это был осознанный вызов, крайнее проявление романтизма, что достался от польской бабушки или от безвестного русича, обладавшего горячим сердцем и пылким нравом. Было тут и противоречие – между внутренним и внешним, своим и чужим, декларацией самодостаточности и ожиданием судьбоносной встречи. Иногда Елизавета даже спрашивала себя с обидой: а мир внутри – он что, не взаправду? Он полон соков и теплой плазмы, но не обман ли это, раз все надежды упираются в простое счастье?

Она знала в себе зачатки порывов, необузданных и способных удивить любого, но ей нужен был кто-то со стороны, чтобы разбудить их и выволочь на свет. Кокетничая с мужчинами, она испытывала их смелость – чтобы чужое бесстыдство взгляда открыло ей что-то в глубине себя. Иногда ей казалось, что ради мига прозрения стоит пожертвовать очень многим, даже и россыпью галактик внутри, замкнутой в безупречный контур. Хрупкую конструкцию однажды можно подбросить и не ловить, пусть будет звон, стекло, осколки... Эта мысль пугала ее, ей было неуютно думать, что где-то в теплой плазме спрятан механизм отрицания и распада. Она понимала, что властвовать над этим не под силу ей самой – лишь кто-то иной, кого она встретит однажды, определит, до какого безумия им обоим случится дойти. Это было милосердно по-своему, оставляя место для любых фантазий. Елизавета Андреевна отдавала фантазиям должное, не сомневаясь ни на миг, что, когда настанет время реалий, она встретит его достойно и не упустит свой шанс.

О любви она знала по книгам, которых было много в родительском доме – они теснились по полкам вдоль стен, занимая пространство от пола до потолка. Елизавета просиживала вечера, зарывшись в страницы; читала и ночью, включив тайком тусклую лампу. Ее никто не трогал, старший брат жил своей взрослой жизнью, а у родителей хватало проблем – семья Бестужевых никогда не была счастливой. Отец, работник внешторга, был завидной партией в советское время, но женился на простой девушке из общепита, удивив родственников и друзей. У него был свой расчет: хотелось неоспоримого лидерства, которое он и получил – наряду с возможностью безнаказанно унижать супругу на протяжении многих лет. В остальном, как хорошо знали дети, всем негласно заправляла мама, а он к тому же еще и рано умер, подцепив в африканской командировке редкую болезнь. Из начитанной Елизаветы выросла тургеневская барышня – она обожала Куприна, шмыгала носом над плохими стихами, просиживая часы в районном парке, и чуралась любых проявлений грубости. Вскоре, впрочем, романтика девяностых перетрясла ценности в ее хорошенькой головке. Старший брат стал зарабатывать деньги, грязно ругаться и курить гашиш, подружки обзавелись любовниками на подержанных импортных машинах, а у нее самой завязался роман с главарем бандитской группировки, в результате чего в девятнадцать лет она рассталась наконец с девственностью, краснея от столь вопиющего ретроградства. Потом девяностые подошли к концу, Елизавета оплакала своего бандита, угодившего на кладбище в полном согласии со спецификой ремесла, отучилась в университете, получив никому не нужный диплом, и стала жить отдельно, несмотря на недовольство матери и брата. Они так и не сблизились впоследствии, она все больше отдалялась от них, отказываясь от советов и от денег, а потом брату пришлось перебраться на другой континент, мать продала квартиру и отправилась к нему, и Елизавета почувствовала себя по-настоящему свободной.

Вскоре случилось и первое замужество, по мгновенному горячечному капризу, не оставившее никакого следа. Избранник оказался ничем – серостью, насекомым, пустейшим местом – и быстро наскучил, так что она вздохнула с облегчением, получив повод выставить его вон. Ей сразу стало очень жаль себя, но тут в ее жизни появилась подружка, некто Сара, с туманным прошлым и ярко-красной прядью в волосах, на четыре месяца завладевшая ее судьбой. Сара была склонна к экстримам, что-то в ней завораживало Елизавету почти до транса, а особенно – блестящее лезвие, узкий стилет, с которым та не расставалась ни на миг. Они придумывали игру за игрой, и Бестужева забыла о невзгодах – и даже порой грезила наяву, вспоминая лезвие, испробовавшее разные места, резвый язычок и свой сладчайший стыд. Никто до того не ревновал ее с таким остервенением, в этом тоже был свой интерес; потом Сара исчезла, внезапно укатив на Алтай, а Елизавета поняла, что худшее позади, и она готова жить дальше.

Несколько пожилых любовников с хорошими манерами окончательно вернули ей уверенность в себе. Тут же вновь захотелось огня и страсти, но с этим оказалось непросто, несмотря на веселый нрав и завидную энергичность поиска. В результате, личная жизнь Елизаветы Андреевны свелась к компромиссам и утолениям вожделений. В них крылась своя страсть, авантюрная и бесстыдная, с терпким мускусным привкусом, на которую она когда-то не считала себя способной. Внешняя ее прохладность иногда вдруг сменялась всплеском бурных энергий, она словно вырывалась из клетки, становясь несдержанной и ненасытной. Это не ограничивалось грубой чувственностью; природа вихрей, завладевавших ею, была куда пронзительней и тоньше. Елизавета и сама не знала ей названия, считая с некоторой натяжкой, что это и есть энергия любви.

Время шло, но ничто не менялось – лишь подружки обзаводились семьями одна за другой. Елизавета Андреевна не испытывала к ним зависти – зная, что ей уготован особый жребий, который не пристало торопить. Мужчины были падки на нее, слетаясь, как грузные мотыльки, на лукавый отсвет и бессловесный призыв, но потом и сама она повзрослела и стала экономнее расходовать флюиды. Ей наскучило разнообразие, поклонники сменялись теперь не так часто, из них лишь немногие получали постоянный статус, но и тех она так и не научилась уважать. Гулкий вакуум, выставляемый ими напоказ, не резонировал ни на одной частоте, не откликался ни единой волной, ни светом, ни словом – она сердилась поначалу, а потом они просто стали ей забавны. Она приняла как факт, что сильный пол в ее стране в целом значительно хуже слабого, и это знание примиряло ее с действительностью, подводя под эпизоды надежную базу. Имея объяснение, всегда легче жить: она наблюдала с улыбкой, даже с какой-то материнской заботой, как ее любовники ходят по комнате, жестикулируют, расправляют плечи и украдкой смотрят в зеркало, как они пытаются важничать и занимать побольше места, как они едят, пьют и курят, симулируют раздумье и сосредоточенно морщат лбы, а потом с облегчением отдаются знакомому делу – будь то хозяйственные хлопоты, секс или вождение автомобиля. Она знала, чего стоят их претензии и намеки, туманные обещания и частое нытье, знала, как легко их смутить и выбить почву из-под ног, как легко польстить им, добиваясь своего, как вызвать на разговор или заставить замолчать в сомнении. Она имела над ними власть, но не упивалась властью, ей было удобно контролировать ход вещей, но если что-то шло не по ней, она относилась к этому легко, не вступая в споры и не переживая ничуть.

Последний из них держался уже седьмой месяц. Бестужева не любила его, но ценила за преданность – качество, пробравшееся незаметно в первые ряды обновленных приоритетов. Он был удобен в общении – так же, как наверное и в длительной совместной жизни, но этого, она знала, им никогда не удастся проверить. Было ясно, что и эта история подходит к концу – по утрам, после бурных ночей, она с трудом сдерживалась, чтобы не вести себя по-свински, а покорный вид спящего рядом «Шурика», как он стал называть себя ей

в угоду, вызывал раздражение и брезгливость. Это уменьшительное она вообще перестала выносить, несколько раз сорвавшись и нагрубив, после чего «Шурик» превратился в понурого «Александра», путающегося в согласных, и она старалась теперь вовсе обойтись без имени, чтобы, по крайней мере, самой не произносить ЭТО вслух.

«Александр» нравился ее подругам, включая компаньонку Машу и нескольких сокурсниц, что когда-то тешило самолюбие, но теперь тоже стало раздражать. В целом же, Елизавету не заботили чужие мнения – она давно поняла, что каждый взгляд по-своему однобок, да и к тому же ни от кого не дождешься правды. Все преследуют собственные цели, а что такое цель – ясная, четкая, достижимая в срок – она хорошо знала и сама. У нее их был целый список, она любила, засыпая, устраивать им смотр – подводя итоги и намечая новые шаги. Многое тогда выстраивалось по ранжиру, находя свое место и свое время – многое, но не все. Были вещи, стоявшие особняком – находясь вне всяких списков, дразня неуловимостью, оставаясь бессрочной мечтой.

Глава 2

Рассудив, что Маша потеряла к беседе интерес, Елизавета Андреевна разобрала служебную почту и включила компьютер. Электронных писем было немного, и одно из них сразу привлекло внимание. «Счастливая!» – гласило заглавие. Это было, конечно же, довольно странно. Елизавета покосилась на букет, ощущая себя не в своей тарелке, потом открыла письмо и стала искать смысл в мелких значках появившейся на экране картинке.

«Машка, посмотри-ка...» – позвала она было компаньонку, но тут экран вдруг ожил, значки зашевелились, задвигались и сложились в большое сердце, окрасившееся в пурпурный цвет.

«Что?» – подняла голову Маша, но Бестужева поспешно замахала рукой – ничего, ничего – и почувствовала, что краснеет. «Кликни!» – проступила надпись. Она покорно ткнула в нее курсором, и на месте сердца появился текст, состоящий из набора кратких команд.

Это была инструкция по вычислению Числа души – так утверждал заголовок, набранный жирным шрифтом. Заинтригованная Елизавета произвела все действия, повторив их дважды, чтобы не ошибиться, и впечатала результат в окошко внизу, под которым красовалась кнопка «Расшифровать». Расшифровка не заставила себя долго ждать. «Ваше число – шесть, – появилась надпись. – Вы Венера, Ваш камень бриллиант. Ваша сущность – любовь, материнство, домашний покой...»

Затем все исчезло, вновь сменившись сердцем, а потом и оно распалось на осколки и обратилось в ничто. Елизавета хотела запустить картинку еще раз, но не тут-то было – письмо больше не оживало, оставаясь бессмысленным набором знаков. Ей отчего-то стало грустно. Она снова глянула на букет, будто ожидая подсказки, покачала головой и откинулась на спинку стула, задумавшись о сегодняшнем утре, Числе души и всей своей жизни.

Так она промаялась до вечера и вышла на улицу с головной болью, в раздражении на все и всех. Книжные лотки исчезли, их место заняли торговцы фруктами с маслянистыми глазами. Елизавета, не любившая южан, подумала мельком о недолговечности окружающих ее декораций, исключением из которых, да и то сомнительным, были только офис и съемная квартира. Она спустилась вниз, пересекла площадь и медленно побрела по Большой Лубянке в тени всем известного здания, до сих пор источающего угрозу и наводящего на некоторых необъяснимый страх.

Ее, впрочем, никак не трогали ни здание с гранитным постаментом, ни другие призраки прошлого, которое она застала уже на излете и не имела причин принимать всерьез. Москва хорохорилась новым содержанием, Елизавету Бестужеву оно устраивало вполне, особенно ввиду отсутствия альтернатив. Она свернула на Кузнецкий Мост, сверкающий витринами бутиков, и направилась к Тверской, поглядывая по сторонам. Дорогие магазины, не доступные ни ей, ни большинству сограждан, давно уже не вызывали интереса, она рассеянно скользила взглядом по яркой одежде, белью и аксессуарам, высвеченным ртутными лампами за толстым стеклом. Потом настал черед ювелирных домов, Елизавета, неравнодушная к украшениям, еще замедлила шаг и вспомнила о бриллианте из утреннего письма, но тут же устыдилась и пошла быстрее, сделав чуть надменное лицо.

Рабочий день подошел к концу, и Кузнецкий был полон прохожих. Елизавета Андреевна с неудовольствием отмечала, что все они похожи друг на друга, как капли воска или другого вещества, с легкостью принимающего любую форму. Она чувствовала в этом подвох, какую-то обидную несправедливость, хоть и не знала, как и почему должно было быть иначе. Закатное солнце и отблески чужой жизни сделали окружающих ее людей неприметными, почти бесплотными, искривив их и истончив. Они скользили взад-вперед, как тени

или персонажи наспех придуманных книг. Их движениями управляли сущности очень простого свойства; их желания, амбиции и проблемы ничего не стоило угадать наперед. Город дал им передышку, и они приняли ее покорно, как до этого принимали тяготы буднего дня – хамство начальников, упреки и нервозность, скверный обед в ближайшей столовой. В них не доставало чего-то важного, и Бестужевой не хотелось называть это «что-то» – все тогда могло стать еще грустнее. Она ощущала себя до странности чужой им всем, словно спустившейся с другой планеты, тут же подмечая в припадке самоедства, что все это преходяще, а ей, наверное, когда-то придется повзрослеть. «Когда-то, но не сейчас, – пробормотала она себе самой, – повезло тебе, красавица...» – с тайным удовлетворением подумав тут же, что по-иному не могло быть, а еще, что «красавица» – это в точности про нее.

После пересечения с Рождественкой, Кузнецкий Мост пошел вниз и сразу потускнел. Бутики уступили место рядовым магазинам и кафе. Елизавета зашла в одно из них, названное по имени индусского бога, заказала цитрусовую смесь и стала глядеть на уличную суету. Прямо напротив располагалось посольство новой страны, малозначимой и никому не нужной, рядом – магазин иноземных вещиц, а чуть поодаль – знаменитая некогда Книжная лавка писателей, в которой теперь продавали открытки и матрешек. Ее единственное окно было занято рекламой клюквенной помады, чей слоган, как вкус долгого поцелуя, напомнил Елизавете о ночи накануне, от которой к этому часу остались лишь утомление и досада.

Вдруг у нее по спине вновь пробежала холодная щекотка, и чей-то взгляд почудился невдалеке. Она стала озираться – порывисто, сердито – потом откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «Совсем сдали нервы, – пожаловалась она шепотом, – все время мерещится всякая дрянь!..» Елизавета Андреевна была неправа – ощущение возникло не на пустом месте. За ней, соблюдая положенную осторожность, наблюдал неприметный человек.

Этим утром его могли бы встретить у серого дома на Солянке и потом во всех остальных местах, где появлялась Бестужева, за которой он следовал, как неотступная тень. Неприметный человек был профессиональным филером. Его задание на первый день гласило, что «объекту» следует дать намек на слежку, не позволяя убедиться доподлинно и не открывая себя. Заказчика он не знал – ему сказали лишь, что тот из иногородних, и этого было достаточно, чтобы проникнуться симпатией к Елизавете, попавшей по несчастью в сферу интересов провинциального толстосума. «Толстосум», однако, не был провинциалом – он родился на Ордынке и прожил в Москве до двадцати семи лет. Знай об этом филер, его симпатия могла бы охладеть ввиду солидарности с мужчиной-земляком, но и тут он попал бы пальцем в небо, ибо заказчик, в пику стереотипам, испытывал к Москве стойкую неприязнь.

Его звали Тимофей Тимофеевич Царьков. В свое время он был сокурсником Елизаветы, небогатым студентом, чуть запоздавшим с учебой – ибо юность он потратил на фарцу и дилетантский рок, угодив затем в пехотные войска, но не растеряв ни оптимизма, ни своего нрава. Как-то раз они столкнулись взглядами посреди спиртовок и колб, у них случилась беседа, потом скорая возня под одеялом, потом – интерес друг к другу и пылкая страсть. Елизавета влюбилась в него по-девичьи, открытым сердцем, а он ценил в ней молодость и задор, но роман оказался недолог. Город нанес Царькову смертельную обиду, и жизнь его изменилась навсегда.

Виной всему была скользкая дорога – «Жигули» Тимофея занесло и впечатало в соседний джип. Они завертелись по шоссе, задев еще несколько машин, возникла свалка, в которой странным образом никто не пострадал, хоть автомобилям досталось по первое число. Когда Царьков, низкорослый и худощавый, выбрался из покореженной «шестерки», к нему подошел водитель джипа, отшвырнул взвизгнувшую Елизавету и ударил в лицо так, что у Тимофея случилось сильное сотрясение мозга. В больнице он понял, что жить по-старому больше не может. Его перестали занимать учеба, приятели, Елизавета Бестужева. Он хотел теперь одного – мстить миру тем же способом и манером, вызывать страх, иметь деньги

и власть, добиться неуязвимости и права на жестокость. Будучи максималистом, он ставил планку грядущего взлета весьма высоко. Будучи человеком здравым, понимал, что в Москве его цель неосуществима – вследствие недостатка средств и, главное, связей. Тогда Тимофей Царьков от всей души возненавидел Москву.

Елизавета почти неотлучно провела с ним первые два дня, но он был замкнут, отстранен и тяготился ее присутствием, так что она обиделась и стала приходить реже. Потом, перед выпиской, у Тимофея случилась интрижка с медсестрой, о чем он с тайным удовольствием поведал Бестужевой – не простив, что она была свидетелем унижения, и желая побольнее уколоть. Последнее удалось ему вполне, они тут же расстались, крайне недовольные друг другом, а вскоре он ушел из университета, и никто из знакомых никогда больше о нем не слышал.

Порвав с прошлым и, особенно, настоящим, Тимофей отправился в Екатеринбург, где жил его дядя, промышлявший ювелирным делом. Быстрых лавров он не снискал, да и дядя оказался порядочной сволочью, но удача улыбнулась-таки ему, зайдя с неожиданной стороны. Как-то раз он подошел к человеку, валявшемуся без памяти у автобусной остановки, а когда понял, что от того не пахнет спиртным, поймал машину и отвез его в больницу, чем, как оказалось, спас ему жизнь. Человек оказался крупной шишкой, державшей в руках часть Среднего Поволжья. На Урал он прибыл инкогнито по очень личным делам и чуть за это не поплатился – во время утренней прогулки с ним случился приступ падучей, от которого он потерял сознание. Как сказали врачи, падучая и обмороки были следствием нервной болезни на фоне врожденной деформации сосудов. Приступ нужно было купировать сразу во избежание худшего исхода, и, если бы не Тимофей, таковым исходом скорее всего и закончилось бы дело.

В результате, больного спасли и в два дня вернули к нормальной жизни. Он аккуратно записал в блокнот малопонятный диагноз, произнес несколько слов в адрес волжских медиков, которых явно ждал непростой разговор, потом отправился в ближайшую церковь, пожертвовал ей всю свою наличность и отбыл в родной город Сиволдайск, прихватив с собой Тимофея в качестве помощника по общим вопросам. Это было семь лет назад. С тех пор Тимофей Царьков и его покровитель трудились бок о бок и не теряли времени даром. «Покровитель» пересел в кресло местной администрации, где чувствовал себя еще вольготнее, а Тимофей Тимофеевич, в котором открылась склонность к финансовым схемам, основал свое скромное «хозяйство», как он любил его называть, и наживал капитал, вполне соразмерный калибром, намеченным когда-то в больничной палате.

Беда, как и удача, пришла из ниоткуда: у «покровителя» внезапно подросла дочь. Ревностный папаша, он желал чаду наиполнейшего счастья и давно уже прикидывал варианты будущих матримониальных уз, но «кровиночка», достигнув двадцати с небольшим, став дородной русской бабой, одетой по последней моде и не привыкшей отказывать себе ни в чем, сама внесла ясность в собственную судьбу. Нежданно-негаданно, она по уши втрескалась в Царькова, который помнил ее смешливым подростком с веснушками и косой, когда-то, к смущению всей семьи, не умевшим пользоваться ножом и вилок.

Теперь она повзрослела, и он ее боялся. В ней жили тысяча дьяволят, две-три матерых суки и Альберт Эйнштейн или его двойник, переименованный на среднерусский лад. Она была сильнее, умнее и безжалостнее любого, ее темперамент повергал окружающих в трепет, ей, полагал Тимофей, ничего не стоило откусить любовнику голову, как самке богомола, да и, ко всему, он не любил полных женщин. Словом, надвигалась катастрофа, которую Царьков ощущал всеми органами чувств.

Дочь – ее звали Майя – после первой неудачной попытки затащить избранника в постель сразу отправилась к папе и потребовала свадьбы. Любовь, объяснила она, придет позже, сейчас так делают все, да и может ли кто-либо устоять перед таким сокровищем, как

она? Не может, согласился тот, несколько ошеломленный напором, и довольная Майя укатила в Кливленд по программе культурного обмена, наказав родителю поспешить с разработкой деталей. Вернуться она должна была месяца через три, один из которых почти уже истек, и Тимофей понимал, что отсрочка, предоставленная небом – его единственный шанс на спасение.

«Покровитель» имел с ним мужской разговор, в котором оба тщательно подбирали слова. Тимофей, проявив сообразительность и чутье, сумел внести в ситуацию толику многозначности. Он был невнятен и загадочен в меру, намекнув на обстоятельства прошлого, которые пока нельзя раскрыть. В его монологе промелькнули понятия «честь» и «долг», весьма близкие собеседнику – человеку старой школы и отживших правил. В общем, разговор не привел ни к чему, показав лишь, что намеренья сторон серьезны, и незадачливому жениху не откупиться малым.

Ослушаться грозное семейство без веской на то причины Тимофей не мог – оскорбленная гордость «покровителя», а главное, ярость отвергнутой Майи стерли бы его в порошок. Была идея прикинуться любителем мальчиков, но это не годилось для российской глубинки – никто не подал бы ему руки и не стал бы иметь с ним дела. Оставалось одно – срочно соорудить альтернативный брак, причем задним числом и с возможной достоверностью, и он озаботился этим со всем своим пылом, отложив прочее на потом.

Найти фиктивную супругу оказалось непросто – ей нужно было довериться во многом, и, размышляя над персоналиями избранниц, Тимофей впадал во все большую тоску. Знакомых женщин хватало, он даже подумывал теперь, глядя на них новым взглядом, что ко многим был несправедлив и разбрасывался почем зря. Все они, однако, обретались здесь, на виду, с простыми биографиями, прозрачными до самого рождения, переписать которые не представлялось возможным. Нужен был кто-то со стороны, но он растерял давние знакомства – не предлагать же первой встречной ввязаться в тонкую и хитрую игру. Тимофей готов был отчаяться, но тут ему в голову пришла счастливая мысль, и он перевел дух, зная, что спасение возможно, хоть пока еще не гарантировано на все сто.

Его женой должна была стать Елизавета Бестужева, она подходила по всем статьям, умея хранить секреты и держать слово – если склонить ее к неосторожному обещанию. Она была честна и не способна на подлость – в отличие от почти всех прочих – а Тимофей питал слабость к порядочным и честным, не уставая удивляться, что они не совсем еще перевелись. Конечно, ее упрямство могло свести всю затею на нет, в чем он отдавал себе отчет, вспоминая, как бурно они расстались семь лет назад. Но отступать было некуда, оставалось надеяться на стойкость сердца Елизаветы и ее романтическую натуру, а также – на собственное обаяние и умение добиваться своего.

К реализации задуманного он приступил немедленно. За ночь составил подробный план, что показался бы кому-то слишком сложным, но Тимофей не признавал легких путей. Он всегда полагался на изощренные комбинации, которые странным образом удавались – в том числе и в делах «хозяйства», к удивлению искушенных партнеров. Обычная его тактика состояла в нагромождении случайностей – до той самой точки, когда они, перейдя зыбкую грань, порождают неизбежность или, по крайней мере, ее фантом. А с неизбежностью не поспоришь, в этом залог успеха – потому Царьков, уловивший суть причинности, действовал смело и не знал сомнений. Так и теперь: вокруг Елизаветы Андреевны задвигались невидимые фигуры, создавая цепь событий с одним и тем же вектором, словно указующим перстом. Место, в которое указывал перст, должен был вскоре занять сам Тимофей.

Конечно же, филер, замерший за дверью канцелярской лавки наискось от террасы, где сидела Елизавета, не был посвящен в такие тонкости, хоть и руководил всей «уличной» частью операции. Он сочувствовал молодой женщине, которую, очевидно, поджидали проблемы, но сочувствие не мешало ему относиться к работе со всем положенным тщанием.

Он вообще не чурался эмоций в своем нелегком труде, даже культивировал их в себе, проныкаясь к «объектам» то жалостью, то ненавистью или презрением – это помогало сносить неудобства и утешало порой в дни промахов и неудач. Промахи, впрочем, случались редко, его высоко ценили в определенных кругах, и от заказчиков не было отбоя.

Филер посмотрел на часы, нажал кнопку на сотовом телефоне и сказал в него несколько слов. Через минуту из соседнего дома на Кузнецкий выбежала девочка в гетрах и розовой тунике и посеменила по улице вверх, привлекая всеобщее внимание. Действительно, вид ее был вызывающ, да и еще она держала в руке большую розу, обернутую в фольгу. Прохожие оборачивались ей вслед, посетители открытого кафе тоже глядели на бегунью во все глаза, а та вдруг сделала крутой поворот, оказалась прямо возле Елизаветы Андреевны и вручила ей цветок, сделав старомодный книксен. Роза была точно того же цвета, что и в утреннем букете, но гораздо крупнее и свежее на вид.

«Пожалте, – проговорила девочка, заглянув Елизавете в зрачки, – пусть одна, но как рубин. А бриллиантик – потом, потом...» – и улыбнулась хитрой улыбкой, отчего лицо ее сморщилось, и стало видно, что она не так уж молода.

«Что это?» – спросила Елизавета в недоумении, но девочка лишь вновь улыбнулась ей, погладила руку холодной ладонью и со всех ног побежала прочь, тут же растворившись в толпе.

Елизавета Андреевна вздохнула, пожала плечами и положила розу на стол. Все смотрели на нее, но она не замечала взглядов, будучи основательно сбита с толку. Толстая официантка принесла счет и тоже глянула с откровенным любопытством. Елизавете отчего-то стало грустно и даже немного защипало под веками. Она расплатилась, взяла розу, уколовшись об острый шип, вышла из кафе и быстро зашагала к Тверской. Через полчаса она уже сидела на тахте в своей квартирке в Гнездиновском, глядела на цветок в узкогорлой вазе и шептала ему: «Я – Венера, мой камень – бриллиант...» – словно защищаясь от чьей-то воли, вторгшейся в ее жизнь.

Глава 3

Утром того же дня сорокалетний москвич Николай Крамской, не признававший отчеств и до сих пор не имевший семьи, вышел из подъезда на тихую улицу Гиляровского и зашагал к Садовому кольцу. Большой двухцветный дом, где он проживал с рождения, был известен на всю округу. Три его арки соединяли напрямую узкие переулки и оживленный проспект Мира, что не раз оказывалось на руку всякому отрепью, так что жители привыкли к беспокойству и милицейским рейдам. Прямо посередине дом разделяла черная полоса. Верхняя половина, выкрашенная в синий цвет, считалась прибежищем аристократов, а с крыши не раз бросались на асфальт самоубийцы обоих полов, среди которых была любовница австрийского посла и еще несколько персон помельче.

Николай плохо спал этой ночью, был небрит, утомлен и хмур. Он шел, лавируя меж машин, оставленных прямо на тротуаре, вниз по сонной улице, что безропотно приютила зажиточные сословия разных лет, перемешанные в одно и растерявшие большую часть отличий. Взгляд его был мрачен, давний шрам на щеке, проходящий на след крохотной руки, выделялся сильнее обычного и придавал ему зловещий вид. Начиналась жара, от тротуара будто поднимался пар, и окружающий мир ничем не радовал с самого утра.

Выйдя на Садовое, шумное как автодром, Николай привычно глянул в сторону Сухаревки, дождавшись, чтобы башня отсалютовала ему безмолвным бликом. Он подмигнул в ответ – стрелецкому полковнику, под страхом смерти не предавшему царя, колдуну Брюсу, что умел добывать золото из свинца, чернокнижникам, слугам дьявола и прочим призракам, вольготно разместившимся у нее под куполом – и свернул к подземному переходу, что выводил в сумрак старых улиц. Там, он знал, его ждали прохлада и тишина, столь редкие для городского лета.

Сегодня он решил пойти по Трубной, узкой и гулкой, действительно похожей на изогнутую трубу. Почти все особняки, принадлежавшие когда-то купеческой знати, сохранились в перипетиях бурных лет – там теперь хозяйничали банки, изгнав учреждения Совдепии и выдавливая понемногу рядовых жильцов. Николай шел, не торопясь, разглядывая разноцветные дома, словно окликая знакомых, в лицах которых ожидаешь увидеть предчувствия горьких дней. Они были красивы, выделяясь пятнами на сером, но красивы бесцельно, этим некому стало гордиться. Серое наступало, прикрываясь порой безвкусно-пестрым; неумелая власть хозяйничала без оглядки; дерево эволюции сбрасывало под ноги никому не нужные листья. Как и многие москвичи, Крамской приучился относиться к этому легко: общество достойно своих поводырей, а оставшимся в меньшинстве должно пенять лишь на досадное невезение.

Дойдя до площади, где был когда-то птичий рынок, он покачал головой и выругал себя за ошибочный маршрут. Теперь тут, заполонив пространство, раскинулась строительная площадка – перекопанная вдоль и вширь, изрезанная канавами, заставленная временками и лесами. Делать было нечего, и Николай, как и другие незадачливые прохожие, пустился в путь по шатким мосткам, по доскам и листам железа, служившим временными тротуарами – пробираясь, будто среди воронок, оставшихся от бомбежек. Кое-как доплетясь до Рождественки, он перевел дух, утер пот со лба и стал карабкаться на холм по неровному асфальту, казавшемуся теперь верхом совершенства. Ему захотелось представить, как когда-то тут катили шикарные экипажи, спеша с жилых окраин на сияющий Кузнецкий Мост, но в душе почему-то были лишь раздражение и горечь.

Кто это писал, – вспоминал он хмуро, – «чтобы заставить русского сделать что-то порядочное, нужно сначала разбить ему рожу в кровь»? Удивительно верно подмечено. Люди вообще склонны к саморазрушению. Ну а заодно и вокруг многое удастся порушить...

Солнце теперь светило прямо в лицо, заставляя щуриться и недовольно моргать. Как же тяжело преодолевать московские пространства, будто бредешь по пустыне или бескрайнему бездорожью, – думал он еще, запыхавшись на подъеме, среди рытвин и ночных луж. – Порой и не знаешь, доберешься ли до нужного места, а добравшись все же, чувствуешь, что силы иссякли вконец. Выживание в этом городе требует постоянных маленьких свершений. Удивительно, как они потребляют весь ресурс. На свершения серьезные не остается сил – это ли не насмешка над московской спесью?

Конечно, Николай преувеличивал, намеренно сгущая краски. Причиной тому была странная тоска, владевшая им в это утро. В ней жил подвох, не имевший разгадки, Крамской не мог бороться с нею и оттого не любил ни окружающее, ни себя.

Подобное происходило с ним и раньше, мир порой оборачивался смутным ликом, но не часто и скорей по поводу, чем без. Несмотря на привычку к въедливому раздумью, Николай отнюдь не был мизантропом, он принимал действительность как есть, никого не виня в своих бедах и состояниях души. Это было непросто, и винить, конечно же, хотелось многих, но он умел вовремя себя одернуть, боясь превратиться в брюзгу, что означало бы начало старения и потерю свежести взгляда. Когда-то он обрел привычку думать вслух, это помогало сохранять присутствие духа, а еще – на страже душевного равновесия стояла собственная его система мироустройства, взращенная в часы бессонниц, которой он не делился никогда и ни с кем.

Она была почти не выразима в словах – нужных слов отчаянно не хватало. В ее основе, как непознанный зверь, располагался организм-хозяин, живущий своей жизнью, где любой частице, молекуле, мельчайшему элементу отведена определенная роль. Николай Крамской был такой частицей – и не знал пока, много это или мало. Его, Николая, мысли и душевные порывы, его желания, стремления и планы – все это рождалось не случайно, являясь продуктами реакций в метаболизме, сложность которого не описать в жалких рамках людских суждений.

Это была вселенная – быть может, в этом жил Бог, если уж договариваться о терминах, что, признаться, Николаю не хотелось делать. Следствий хватало и без того – к примеру, не стоило обольщаться по поводу личных прав и свобод. Организм-владелец не был на них щедр, а может и не предлагал их вовсе – с этим Крамской тоже еще не разобрался до конца. Зато он знал, что и прочие, нередко мнящие о себе слишком много, не так независимы, как привыкли считать. Они сами не более чем частицы, и хорошо еще, если их роли разнятся хоть чуть-чуть. Большинство из них – балласт, энергетический материал, что годится лишь для простейшей химии. Это, впрочем, никого не делает хуже – ведь и без них не обойтись, да и потом в любой неприметной точке может родиться сигнал, достойный расшифровки. Просто, не нужно злиться, когда поймешь, что сигналы долетают редко, а мироздание коверкает их и глушит по каким-то лишь ему известным правилам игры.

Словом, жаловаться не имело смысла: сегодня, как и всегда, настроение определялось высшими сферами – хитроумным замыслом извне, постичь который не представлялось возможным. Николай послушно нес его в себе, транспортируя, как хрупкую ношу, через холм и вниз, к городскому центру, мимо ломбардов и поддельного антиквариата, Архитектурного института и Сандуновских бань, к кипящему жизнью Кузнецкому Мосту. Там следовало свернуть направо, чтобы попасть напрямик в нужное место, но в последний миг будто чья-то рука направила его в другую сторону. Он решил прогуляться кругом, да еще и заглянуть в любимый бар на Лубянке, в верхнем этаже одного из зданий. Уже подойдя ко входу, он заметил неподалеку книжные лотки, свернул к ним, бегло окинул взглядом и повернулся было, чтобы уйти, но задел чей-то локоть и вызвал маленький переполох, оказавшись в самом его центре. Кто-то вскрикнул, том в черном переплете выпал из рук девушки, стоящей рядом, и в плечо тут же задышал юноша-продавец, зорко следящий за порядком. Николай сделал успокоительный жест, пробормотал извинение и поднял упавшую книгу, раскрытую на середине.

«...а ему выпало четыре – две двойки на выщербленных костях – гнусный символ головы Раху, словно высеченной из гессонита, контур судьбы, в коей ни радости, ни тепла, одна лишь скука и тяжелый труд», – прочитал он с неудовольствием, быстро оглянулся, словно стыдясь, и пошел назад, к стеклянным дверям, ничего не купив и еще более нахмурясь.

Наверху ему стало лучше. В конце концов, пророчество наверняка предназначалось другому, он просто влез не в свое дело, как это с ним бывало не раз. Тут вообще неравнодушны к пророкам, к оракулам, гадалкам и магам – он и сам не прочь заглянуть в грядущее, но не уподобляться же тем, кто верит в явную чушь. Конечно, если нет другой пищи для ума, то сгодятся и двойки на костяшках, и драконья голова, но он-то не настолько глуп, чтобы пугаться незнамо чего!

Николаю принесли фруктовый коктейль, он отпивал его маленькими глотками и смотрел на площадь внизу, на столпотворение машин и здание бывшего КГБ. Вид был неплох, но не слишком радовал глаз – он предпочел бы перенестись назад, лет так на сто или еще побольше. Ему хотелось видеть извозчиков трактир, погребальные экипажи на углу и мягкие пружинные кареты, слышать не какофонию клаксонов и шорох шин, а стук копыт по мостовой, звяканье цепей и ведер, людской шум и крики. Девятнадцатый век и даже век двадцатый, включая бурные события последних лет, влекли Крамского куда больше, чем блеклая сиюминутность, от которой хотелось морщиться, как от похмельной горечи во рту.

Нынешний город не будил в нем теплых чувств. Москва, хлебосольная и горделивая, полная тайн и неиссякающего духа, стремительно теряла былой шарм, как скатерть-самобранка, захватанная пальцами, что съезживается в лоскут на манер шагреновой кожи. Она метила в столицы скудного мира – общества потребления, стосковавшегося по ярким оберткам. И она преуспевала в этом – отрешившись от прежних качеств, не желая более ни создать, ни изыскать новое, ни питать своим величием тех, кому невыносим всеобщий примитив. Многообразие форм стало ей не под силу, она стремилась к стандартам по чужим рецептам, намеренно опрощаясь, теряя свой слух и голос. Николай порой вертел в недоумении головой, словно спрашивая, где он и что с ним, и куда делись все те, что окружали его десяток лет назад.

Он, однако, не желал огорчаться по поводу временного несходства взглядов с городом, в котором родился и провел всю жизнь. От чрезмерного огорчения пахло слабостью и нытьем, каковые он вообще не мог терпеть. Конечно, необъятность существа, в которое он был хитрейшим образом вживлен, располагала к укрупнению масштабов. Превратности одной судьбы, пусть даже и своей собственной, не казались столь уж серьезной вещью. Но и отдельные судьбы были наделены смыслом – иначе зачем такие заморочки с устройством человеческих тел и душ, беспокойного разума и инстинктов? Нет, все не так просто, и сам он, пусть не титан, но и не бессловесная пылинка – Николай знал это твердо, хоть и стеснялся превозносить свою значимость чересчур. В грандиозной картине не было места жалобам, равно как и хвастовству или излишкам самомнения. Мироздание действовало по плану, имея на него какие-то виды, и жизнь текла по законам «предназначения», осознать которое представлялось наиважнейшим делом. Приняв это и определившись с главным, было нетрудно мириться с досадными мелочами – например, с насмешками, выпадающими любому, претендующему на верность взгляда или, по крайней мере, на его гибкость.

Впрочем, неудобств было не так много – «личная метафизика», как Николай ее называл, не мешала ему неплохо устроиться в быту. Он получил бесплатный багаж очень даже полезных знаний – за счет империи СССР, уже изготавившейся к распаду. Затем успел потрудиться в Академии, что пришла в упадок, как только СССР не стало, и теперь еще ностальгировал по обеим – и по империи, и по Академии – трезво отдавая себе отчет, что подобная вольница не могла оказаться вечной. Когда свершился крах, и легион творцов науки кинулся спасаться поодиночке, Николай удачно примкнул к группе компьютерных гуру с бородами

и учеными степенями, еще не нащупавших дороги на Запад. Он швырнул в общий котел все, наработанное для государства, о котором стало вдруг неприлично вспоминать, и зажил вполне безбедно по тем голодным временам. За два года они собрали вместе целый ворох мертвых теорий, вызволенных на свет из недр советских НИИ, стянули их, как болтами, броскими функциями интерфейса и, написав сверху большими буквами «Технология Т», стали искать покупателя покрупнее. Затея была авантюрной и почти без шансов на успех, но успех случился все же по странным законам российского абсурда. Этому способствовало оглушение мира в целом и, в частности, близорукость Европы, решившей вдруг довериться мифам «перестройки». Один из них оказался как нельзя кстати, и, одурманенные им, эмиссары большого голландского концерна закупили большое «Т», даже не сильно торгуясь, заплатив настоящими деньгами и по самым настоящим ценам.

Случай был уникален и многому кое-кого научил – по крайней мере, один из пресловутых мифов, скорее всего, приказал на этом долго жить, до чего счастливым героям не было никакого дела. Почти все они, впрочем, быстро потеряли заработанное, бросившись без оглядки в мутную стихию новорусской коммерции, лишь Николай Крамской, не имея к коммерции интереса, проживал понемногу свою часть, пробуя то одно, то другое в поисках главной отгадки – чего же на самом деле хочет от него вселенский гигант. Так прошло более десяти лет, денег оставалось еще лет на сорок, за которые, он был уверен, с загадкой удастся справиться или, по крайней мере, существенно продвинуться в ее решении.

Имея средства и свободное время, Крамской пользовался ими вовсю. Первый шок от неожиданного благополучия быстро прошел, и у него хватило ума не причислить себя к «богачам». Он понял, однако, что стал обеспеченным человеком, принял новую свободу и сумел справиться с ней, не наделав глупостей, хоть деньги и жгли ему карманы с непривычки. Живя в городе стадных повадок, он избежал соблазна следовать правилам, погубившим многих, подгонять себя под расхожий образ и являть послушно образец «успеха», навязываемый со стороны. Он даже не купил себе автомобиль – испытывая брезгливость к хаосу московских дорог. Он также не стал менять жилье и обзаводиться предметами роскоши. Вместо этого он скрылся от всех на неделю в подмосковном пансионате средней руки, заполненном едва ли на треть в холодную декабрьскую погоду, и там, бродя по зимнему лесу и согреваясь самодельным пуншем, набросал себе вчерне план дальнейших действий, оказавшийся вполне разумным.

Главное место в плане отводилось поездкам в иные страны, чему Николай отдался со всем пылом, не страшась перелетов и бытовых неудобств. Поначалу он тушевался и прибивался к тургруппам, но быстро понял, что слишком многое оставляет за кадром, после чего сделал усилие и выучил английский, за каких-то полгода обрета независимость от гидов. Это далось непросто, но он проявил упорство, занимаясь каждый день по многу часов вопреки представлениям о русской лени, а заговорив и утратив стеснительность, обнаружил вдруг, что глаза его раскрыты, и мир доступен во всем многообразии, о котором до этого он мог только мечтать.

Крамской селился в лучших отелях, полюбив безличную пятизвездную роскошь, но потом бродил в небогатых местах, вдали от проторенных туристами троп. Он искал обыденность, а найдя, впитывал ее в себя, не чураясь грязных мостовых и косых взглядов – расспрашивал домохозяек и стариков, будто бы в поисках забытого адреса, покупал всякую мелочь в местных лавках, заходил в прокуренные бары и вступал в беседы с совершенно случайными людьми. Языковой барьер для него более не существовал – даже если в стране, где он в данный момент находился, по-английски говорили немногие. Помня об усилении и гордясь им, он, подобно бесцеремонным янки, убедил себя, что это не его проблема, и научился держаться так, что в это верили собеседники. Потом он осмелел настолько, что стал знакомиться с женщинами – изыскивая порою лишь с помощью жестов – и узнал с удивлением, что и

тут количество общих слов не играет решающей роли. У него случилось даже несколько мимолетных удач, об одной из которых он долго потом хранил теплое романтическое воспоминание.

За несколько лет Крамской побывал на всех материках, кроме Африки, куда его совсем не тянуло. В конце концов, многообразие мира выявило несколько доминантных форм и обрело структуру, близкую к пирамидальной. Это было признаком пресыщения – слишком многое начало повторяться вне зависимости от географических координат. Еще какое-то время Николай занимал себя чтением книг, накупив мало-помалу целую библиотеку, а потом ему надоела праздность, и он признал, что поиск предназначения происходит чересчур пассивно, распolzаясь к тому же вширь – в ущерб проникновению вглубь.

Казалось даже, что он, проскальзывая, бежит на месте, а это и вовсе уже никуда не годилось, так что от беспечного наблюдения Николай решил перейти к созиданию. Он стал затевать небольшие «дела», к каждому из которых готовился весьма тщательно. Непременным условием был возврат вложенных денег – желательно, в течение первого же года – дабы не поставить себя в положение проигравшего. Это всегда удавалось – потому, наверное, что деньги были невелики – после чего он, как правило, закрывал «дело» навсегда, тут же принимаясь размышлять над чем-нибудь новым. Закрывал, заметим, с облегчением, будто избавляясь от тяжелой ноши – его амбиции простирались куда дальше предпринимательства по мелочам. Но и оно казалось милосердной недавнего безделья, к которому теперь он уже не решился бы вернуться – да и к тому же некоторый интерес он находил и в этих своих затеях, особенно в предметной их части, на которую можно было порой взглянуть под философским углом, абстрагируясь от бухгалтерии и прочих скучных вещей.

Салон «Астро-Оккульто», с которого он начинал, заставил углубиться в древнюю науку, имевшую отношение к близким ему идеям. Конечно, положения звезд казались упрощением, граничащим с невежеством, и главное оставалось за скобками, скрывая механизмы и предлагая пути в обход, но в целом он с удовольствием тратил время, вчитываясь в графики и таблицы, изящно совмещавшие друг с другом траектории холодных светил. Потом наступило разочарование ввиду nepoзвoлитeльнoй удаленности от реалий, так что следующее «дело» оказалось реалистичным донельзя. Он открыл консультационный центр по вопросам практической сексологии, прикупив по случаю вполне аутентичный диплом и предлагая пациентам советы в духе китайско-индусских практик. Практики эти он бесстрашно объединил в одно, пусть пока лишь в теории, не вошедшей в трактаты, и разработал собственную методику, способную быть может примирить даосов и кришнаитов в вопросах любовных таинств. О нем скоро разнесся слух, и предприятие оказалось доходным, так что Николай закапризничал и вовсе перестал принимать клиентов-мужчин, ограничившись прекрасным полом, с которым оказалось куда легче работать. Во время сеансов и бесед его, зачастую, откровенно пожирали глазами, но он решил с самого начала, что не воспользуется доверчивостью ни одной из пациенток – из соображений этики, а также, опасаясь разоблачения – и так ни разу и не отступил от правила, несмотря на множество соблазнов. Потом были другие затеи, тоже связанные с Востоком в соответствии с московской модой тех лет, но в конце концов восточную тему прибрали к рукам серьезные люди, и Крамской понял, что его выдавили из заманчивой ниши. Тогда-то он и набрел на нынешнее свое детище, лукаво именуемое «Геральдический изыск», которое, вопреки традиции, уже два года существовало в неизменном виде, уверенно держась на плаву и даже принося прибыль.

Так или иначе, на «предназначение» он пока не набрел – и честно признавал это, говоря себе, что все еще впереди. Были и другие причины держаться за свои бизнесы покрепче, как за тонкую пуповину, связывающую с реальной жизнью, в чем он сознавался с куда меньшей охотой. Независимость от денег, к которой привык Николай, давала свободу от человечества – возможность вильнуть вбок и оказаться вне строя, вырваться из унижительного дерби с себе

подобными, воюющими друг с другом за скудные куски. Но, оказавшись вне, он обнаружил, что все не просто, и та же свобода, без которой он теперь не мог, как не мог без воздуха и пищи, таит в себе опасность, неведомую ему прежде. Он стал другим за эти десять лет – непохожим не только на себя прежнего, что не играло особой роли, но и на большинство прочих, что было существенно весьма. Строй был монолитен, он же стоял отдельно – стоял и покусывал губы, не решаясь отойти далеко.

Ощущение «отдельности от остальных» приходило к нему постепенно, часто соседствуя с тревогой и беспокойством. Крамской не был глуп и умел предвидеть потери по первым признакам грядущих перемен. Он понимал, что несхожесть взглядов, поначалу невинная, как домашний театр, может развиваться вскоре в очень печальный случай, обратившись пропастью, которую не преодолеть. Взгляд еще можно перенастроить, прикидываясь своим, но если сдвинется ракурс, то это уже не скроешь, и трещина поползет, разрастаясь, отрезая пути назад...

Представлять подобное было довольно грустно, тем более, что в своих фантазиях он умел забираться в самые дебри. Он видел, будто воочию, как расстояния растут, огни и дымы скрываются из вида, и мир становится враждебнее с каждым днем. Любая осторожность подводит когда-то, компромисс изживает себя, и тогда остается лишь одно: выкрикнуть протест, пока есть силы, сделать его слышным, если есть средства, бросить все на алтарь призрачного храма и обратиться в пепел без надежды воскреснуть. Конечно, при этом может очень даже ярко полыхнуть, и есть шанс, что заметят и повернут головы, отвлекшись на мгновение от повседневных дел – но и что с того, и какой в этом толк? Нет, это годится лишь для тех, кто желает изменить мир, что забавно само по себе, но, к несчастью, вовсе невыполнимо, потому что договариваться нужно с самой главной инстанцией, с организмом-хозяином, распределяющим судьбы. Ну а тот, понятно, даже и не расслышит наглеца, так что останется лишь вибрировать себе в одиночку, рассылая ничтожные импульсы в никуда и возмущая предельно малую окрестность.

Все это не давало спокойно жить. Поначалу, пока обособленность еще не стала привычкой, а враждебность мира, казалось, увеличивалась с каждым днем, Николай пытался оспорить ход вещей, изобретая методы борьбы с неизбежным. Со стороны это выглядело метаниями без всякой цели, он же видел в своих действиях последовательность протеста. Протест, однако, был недолог и закончился ничем, предоставив, как часто бывает, лишь возможность посмеяться над собой.

Возобновив старые знакомства, он скоро отказался от них вновь: следы из прошлого в необъяснимом единстве вели в одно и то же место – к нарождающемуся классу «менеджеров», с которыми не о чем оказалось говорить. Их поза представлялась Крамскому абсурдной, корпоративные игры, принимаемые всерьез, вызвали неодолимую зевоту. Он стал думать даже, что знает теперь, как выглядят по-настоящему несчастные люди, но потом усомнился-таки в этом знании ввиду переизбытка «несчастных», из которых, к тому же, ключом било самодовольство. Как бы то ни было, он понял, что искать следует не там, и занялся изучением альтернатив – в основном в местах концентрации малоимущего населения, таких, как дешевые пивные и публичные бани.

В них даже было свое очарование – особенно в немногих уцелевших рюмочных, где господствовал интерьер семидесятых, приобретший налет античности, но не утративший при этом наивного убожества, присущего вещам Совдепии. Там пахло хлоркой и испорченным пивом, мерцали тусклые лампы под потолком, шустро сновали официантки с отвисшими грудями и лицами многодетных матерей. Посетители не любили яркого света, они жались по углам и прятали лица в ладонях, но Николай намеренно садился в самом центре, словно вызывая на себя все взгляды. Он добросовестно подмечал детали и старался следовать этикету: пил некачественное спиртное, ругал то, что ругали все, и поддерживал сетова-

ния на давно ушедшие времена. Сначала ему, как правило, удавалось слиться с массой, но после одно-два неосторожных слова портили всю картину. Собутыльники узнавали в Крамском чужака и отвергали его с презрением или же замыкались в себе, впадая к тому же в необъяснимую печаль, хоть он и пытался оживить разговор анекдотом или острым словцом.

«Вы даже не хотите со мной напиться, – шутливо упрекал он сидевших рядом. – Не хотите узнать мои тайны, выпытать их из глубин души. Вряд ли вам еще встретится кто-то, у кого будет столько всего в душе. Вы это подозреваете, но не хотите верить. Будь по-вашему, я напьюсь один...»

На него косились и усмехались криво, но на сближение не шли – что-то в нем фальшивило, не попадая в тон. Случались и проявления пьяной агрессии, несколько раз с ним затевали конфликт, однажды дошло и до настоящей драки. Николаю разбили губу, но и он не сплоховал, ответив обидчику по имени Яша увесистым крюком в скулу. Они, впрочем, быстро помирились и сообща улаживали дело с вызванной кем-то милицией, а потом, сделавшись враз друзьями, купили еще водки и рыбных консервов и поехали к Николаю домой – вопреки его строжайшему правилу не пускать к себе посторонних.

Яша подкупил его открытым взглядом и начитанностью, редкой даже для опустившегося интеллигента. *«Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал; когда проснусь, опять буду искать того же,»* цитировал он из Экклезиаста и вопрошал почти трезвым голосом: – О чем это, Крамской? – Потом пояснял: – Все о том же, о пьянстве, – и добавлял, ухмыляясь: – В целом, я согласен с пророком. Вот только мне интересно, в каком режиме бухал царь Соломон? В частности, интересуется время дня и периодичность – потому что, по-моему, я что-то делаю не так...»

Николай был удивлен – ему вдруг показалось, что он нашел человека, с которым можно говорить на одном языке. После он корил себя за внезапную глупость и подмечал с иронией, что действительно слился с большинством в тот день – быстро напился допьяна, как принято у работяг, и уснул прямо за кухонным столом. Проснувшись, он обнаружил, что приятель Яша исчез по-английски, не попрощавшись, и прихватил с собой – уже вполне по-русски – наличные деньги из серванта и новенький японский фотоаппарат. Денег и камеры было не очень жаль; Крамской благодарил судьбу хотя бы за то, что не отравился рыбными консервами, один взгляд на которые поутру поверг его в ужас. Тем не менее, этот эпизод завершил попытки обучиться мимикрии в целях слияния с окружающей средой. Бессмысленно вновь стремиться к тому, что и само по себе перестало иметь смысл, – сказал он себе, приняв как постулат, что свободного полета не избежать. Нужно лишь аккуратно рассчитать траекторию – двигаться не по прямой от, от и от, а куда более изощренно, отдаляясь и возвращаясь, вальсируя и кружась, скользя на одном коньке и выписывая восьмерки. Нужно идти на хитрость и сознательный компромисс: лавировать в людской массе, не уносясь прочь подобно комете, но и допуская из взаимодействий лишь те, что нужны тебе самому. Это настоящее искусство, обучиться ему непросто, но наверное нужно, если хочешь достичь комфорта, и Крамской овладевал им понемногу, иногда примечая и других таких же, как он – осторожных теней, облаченных в тщательно подогнанные маски. Их можно было узнать по походке, по манере смеяться, иногда просто по взгляду. Они назывались «наблюдатели» или еще «посторонние». Они были одиноки в мире, привыкшем к однообразию, и принимали одиночество с поднятой головой, сознавая его неумолимую суть. Николаю порой становилось неуютно, когда он думал об этом, спрашивая себя – а он-то, мол, уже относится к таковым? Вопрос уходил в пространство по невидимым проводам, но отклик терялся где-то, не добираясь до адресата. Быть может, он не умел выделить его из шорохов и шумов, да еще и хитрил немного, не слишком напрягая слух.

Глава 4

К полудню Николай Крамской допил коктейль, съел апельсин и почувствовал себя бодрее. В офис по-прежнему не тянуло, но день, пожалуй, мог пройти лучше, чем казалось еще час назад. Он собрался было встать, но уловил вдруг аромат духов, волнующий и пряный, дразнящий воображение, напоминающий о чем-то, не сбывшемся до сих пор. Источник запаха находился у него за спиной, там же слышались шелест страниц и какая-то возня, и Николай просидел еще с четверть часа, не оборачиваясь, фантазируя и почти уже любя незнакомку, которую никогда не видел.

Как же легко увлечься, если отбросить ненужное, – думал он потом, спускаясь в лифте. – Положительно, миром правят лишь несколько вещей. Иногда это парфюмерия – спросите у парижан, они вам расскажут, хоть скорее всего заврутся. Все равно, у них есть своя правда – стоит зайти в большой универмаг и ощутить, как пахнет со всех сторон. Уж они-то знают, как управлять чувством...

Крамской неторопливо брел по Никольской и размышлял о превратностях обоняния. Ему вспомнилась отчего-то хромая девушка, похожая на мышонка, с которой он познакомился в библиотеке несколько лет назад. Она пахла смешно и наивно, набрасывалась на него жадным ртом, а утром глядела с веселым изумлением. Воспоминание было приятным, но быстро померкло, а ему на смену явился вдруг зыбкий образ несостоявшейся жены, что с полгода проходила в «невестах», жила у него в квартире, но потом сбежала прочь, хлопнув дверью и обвинив во всех грехах. Она питала пристрастие к курительным палочкам из Лаоса, и их горьковатый запах въелся ему в память, накрепко связавшись с ссорами по пустякам, частым стыдливым сексом и ощущением катастрофы. После первой же недели он понял, что совместная жизнь не для него, и пытался было обратить все в шутку, но «невеста» не признавала шуток – она освоилась и разложила вещи, и вовсе не собиралась отдавать завоеванное. Николай запаниковал, у него затряслись руки и пропал сон. Потом и весь организм восстал по собственной воле: пошла сыпь по коже, начались корчи, ночные судороги и рези в желудке. Он думал, что погибает, и, чтобы спастись, прикинулся несносным занудой, изводя сожительницу брюзжанием и придирками, но та сносила их безропотно-терпеливо. Тогда, как последнее средство, он принялся строить из себя скупца, считая копейки и ограничивая в тратах, и это наконец помогло – подруга задумалась всерьез, а в один прекрасный день исчезла со всеми своими вещами, устроив на прощанье безобразную сцену.

Николай тогда многое понял о русских женщинах, познав на себе взбалмошность и тяжелый нрав – и потом считал себя знатоком, выводя правила, не нашедшие применения. Приятели, которых хватало в ту пору, посмеивались над ним, когда он толковал о свойствах женских натур, а присмотреться самим им было недосуг – все они угодили в скорые браки и выпали из действительности Николая, переключившись туда, где требуют, терпят и существуют «в рамках». Там они и обретались с тех пор, разводясь, деля детей, квартиры и деньги, снова спариваясь и заводя «очаг», не имея ни времени, ни привычки задуматься. Наблюдая за ними, он отметил для себя еще, что женщины, в подавляющем большинстве, не представляют себе истинного устройства жизни, ожидая от нее слишком многого без всяких на то причин. Они правда многое готовы и отдать, думая, что оно у них есть и вводя в заблуждение тех, что рядом. Приятели Николая клевали на эту приманку и после удивлялись собственной слепоте, но потом все повторялось вновь, и не один раз. Он скоро перестал удивляться вместе с ними, рассудив, что ошибиться немудрено: вера в собственную сущность одухотворяет не меньше, чем сама сущность – от нее светятся лица и горят глаза, и поди разбери, во что раскроется бутон, радующий глаз упругой свежестью. Потом почти все выходит пустышкой, лишь запросы остаются непомерны, но тут уж ничего не попишешь, и приходится обо-

диться тем, что когда-то выбрал сам. К тому же, выбор невелик, если трезво рассудить – по крайней мере, все знакомые проходили через одно и то же к немалой его досаде.

Теперь Николай почти не имел друзей, а с теми, что считали себя таковыми, виделся редко – не чаще раза в месяц. Интересы разошлись чересчур далеко, что заботило его не слишком: он повзрослел и мало в ком нуждался, приняв как факт, что мир удручающе близок и вовсе не хочет прозревать. Ему был неинтересен их быт, они же, быть может завидя втайне, отвергали явно или неявно ту чрезмерность свободы, что он отстаивал своим образом жизни и холостяцким нравом. Конечно, хватало и кривотолков, и даже откровенных насмешек – особенно со стороны приятельских жен. Он маячил у них на виду, как дразнящий выпел, претендуя на исключительность и неприятие «нормальной жизни», за что, понятно, подвергался обструкции, граничащей с прямой клеветой. Когда-то был даже пущен слух о его «наклонностях», и новость с удовольствием подхватили, обмусоливая на все лады. Тут же из небытия выплыл некий друг детства и проявил отвагу в фантазиях, пришедшихся как раз кстати. Вообще, голубое тогда входило в моду, на эту тему любили поговорить, но все возводилось на зыбкой почве – никто ничего не видел и не знал наверняка. А Николай на самом-то деле всегда был откровенно гетеросексуален и не мог поддержать сплетню ни одним подходящим фактом.

Потом его оставили в покое, но он еще долго испытывал горечь и даже что-то похожее на ненависть – к коварному полу, служившему, казалось, источником всеобщей лжи. Конечно же, он был несправедлив – и сам со смехом признавал это после, вспоминая, как когда-то преисполнился презрения сначала к женам своих друзей, а потом и к московским феминам в целом. Они стали раздражать его почти всем, за томной их грацией виделись очень ясно неуклюжесть порывов и грубость движений. Он глядел на них сквозь недобрый прищур, фиксировал развязность и нагловатый импульс, моментально сходящий на нет, если дать ему хоть какой-то отпор, а за ними – истинную сущность, вечную готовность к унижению, что была прописана на их лицах симпатической тушью плаксивых масок. Они считали унижение неизбежным и покорно принимали его как должное, отыгрываясь на тех немногих, что робели перед ними или их боготворили – но и это с оглядкой, с затаенной робостью, которую не истребить. Где достоинство? – вопрошал он безмолвно. – Где спокойная уверенность и гордая стать? Почему почти все в душе похоже на попрошаек? И еще очень любят жалеть – опустившихся, бездарных, слабых. Впрочем, жалость к убогим у россиян в традиции, ничего тут нового нет...

Лет до тридцати трех Крамской мучился и страдал, чувствуя, что его обманули, недодав обещанное когда-то, но потом острота переживаний стерлась, он стал сильнее и перестал винить других за то, что они такие как есть. К тому же, следовало признать, что те же москвички могут быть влекущи, непосредственны, как нимфы, и желанны, как вкусные конфетки. Главное – не требовать слишком многого; стоит это уяснить, как все становится проще, и Николай в конце концов преодолел искусственный барьер, который выстроил для себя сам. Оттого и противоположный пол сделался ему куда милее, и сам он вдруг, без заметных усилий, стал вызывать известный интерес. Чем, отметим, пользовался всю – по мере настроения и свободного времени.

Жара становилась все сильнее, прямые лучи плавят асфальт. Крамской вышел на Театральный проезд и повернул вниз, к углу Петровки. Добравшись до ЦУМа, дававшего густую тень, он вздохнул было с облегчением, но тут из кармана липнувшей к телу рубашки раздалась певучая трель. Николай глянул на панель сотового, поморщился с досадой и откликнулся мрачноватым «да».

Еще по самому звонку он понял, что хорошего ждать не стоит. Не иначе, в радиосигнал вплелись гармоник чужого настроения, и старый корейский телефон отрезонировал в

миноре. Крамской успел еще подумать, что и утренняя тоска была вызвана предчувствием разговора, которому давно следовало состояться. Более того, виновником ситуации был не кто иной, как он сам.

Звонил клиент, обратившийся в «Изыск» три недели назад. Он был раздражен и резок – и не мудрено: Николай, получив задаток, почему-то расслабился, размяк и не мог заставить себя заняться его заказом. Это было тем более странно, что заказ оказался единственным за лето, и речь не могла идти о недостатке времени или сил.

Теперь клиент требовал отчета. Как раз сегодня неприятности сыпались на него со всех сторон, и он хотел отыграться на ком-то. Крамской подвернулся очень кстати: оговоренный срок подходил к концу, и полное отсутствие результата было веской причиной для недовольства. Именно к недовольству клиент и перешел немедленно, с заметным усилием удерживая себя в рамках приличий.

Николай, в свою очередь, старался не нагрубить в ответ. Всякий раз, когда в «делах» случались сбои, и нужно было превозмогать себя, чтобы одолеть проблемы, зачастую высосанные из пальца, у него возникал порыв встать в позу и послать все к чертям, еще и объяснив окружающим, что он-то на самом деле ничуть от них не зависит. С порывом, он знал, нужно было бороться жестко, и он боролся, считая в уме до десяти, пощипывая себя за предплечье и стараясь медленно выдыхать воздух. Отказаться от клиента, разругавшись с ним и вернув деньги, значило уйти в большой текущий минус, который пусть и не страшен с позиций общего достатка, но все же неприятен, как тревожный звонок, как тень неудачи – и не только в своих глазах. Был и еще один пристрастный взгляд, который Крамской принимал в расчет и не мог позволить себе проявить слабость, поддавшись минутному капризу. Потому, ситуацию нужно было спасать, за клиента – бороться, и вообще вести себя так, как и подобает мелкому бизнесмену, не слишком твердо стоящему на ногах.

Впрочем, ответить было нечего, и Николай, держа корректный тон, отделялся общими словами, заверяя, что заказом занимаются, не покладая рук, и усилие вот-вот вознаградится. Подождать осталось совсем чуть-чуть, а итог не разочарует, – настаивал он, желая поверить в это сам. Клиент еще побурчал, вынуждая Крамского повторить одно и то же на разный лад, и они расстались довольно холодно, договорившись созвониться дня через три. За это время, понимал Николай, должен произойти реальный сдвиг, иначе заказ и задаток будут потеряны навсегда, а потому – с бездействием необходимо покончить, хочется этого или нет.

Покончить следовало прямо сейчас. Идти в офис теперь не имело смысла – там неоткуда было взяться нужному материалу. Николай постоял в раздумье, потом, решившись, зашагал все к тому же Кузнецкому и через минуту вошел в здание библиотеки, все в язвах от осыпавшейся штукатурки, приютившее интернет-клуб, где было прохладно и давали незамысловатую еду. Вышел он оттуда уже после шести – уставший, со слезящимися глазами – скривился от яркого света, ослепившего с непривычки, и медленно побрел вверх, к станции метро. Поиск не дал результата – перерыв множество статей, Николай не наткнулся ни на одну идею и был теперь так же зол на клиента, как и тот на него несколько часов назад.

По крайней мере, этот день подходит к концу, подумал он мрачно и даже пробормотал ругательство себе под нос. Его обогнала, чуть не задев локтем, девочка в гетрах с большой розой в руке. Крамской посмотрел было ей вслед, но тут кто-то рядом назвал его имя, и он, забыв о девочке, удивленно воззрился на нищенку с пропитым лицом, обращавшуюся вовсе не к нему, а к патлатому соседу-бомжу.

Нищенка говорила громко, как глашатай; на нее оглядывались люди, некоторые замедляли шаг. Николай и вовсе остановился, сам не зная зачем, постоял несколько минут и стал искать мелочь в карманах брюк. Рядом с ним застыли еще несколько зевак, нищенка даже глянула на них удивленно, не прерывая вдохновенной речи, но тут кто-то загоготал, послы-

шалось оскорбление, потом другое, и она вдруг сникла, начала ругаться в ответ, а потом всхлипывать и жаловаться по-бабьи. Ее сосед сплюнул в сторону и пробормотал, вздыхая: – «Ну вот, запричитала, кликуша...» – а Николаю стало неловко, и он поспешил дальше, к открытой террасе любимого им кафе.

Хотелось холодного пива, но в меню не было алкоголя, и он заказал цитрусовую смесь, скучно оглядев официантку с прыщами на лице, ответившую ему равнодушно-надменным взглядом. «Рыба!» – подумал он мрачно. Настроение не улучшалось, и, вдобавок, болели натруженные глаза. Николай поискал пепельницу, обнаружил ее на соседнем столе, неловко поднялся, чуть не перевернув стул, потом передумал, махнул рукой и сел на прежнее место. «Ну нет, так не пойдет, – произнес он вполголоса, – снова пытаются затянуть в сети. Кому-то сегодня выгодна моя злость».

Официантка, подошедшая с бокалом и салфеткой, посмотрела с испугом, явно считая, что он не в себе. Крамской подмигнул ей, она фыркнула и, пытаясь, поспешила прочь. «Вот ведь рыба, – подумал он опять, – или курица. Интересно, с ней кто-нибудь спит? Наверное нет, от этого и прыщи. Вон как зыркает – неужели боится?»

Прыщавая девица втолковывала что-то компаньонкам в дальнем углу террасы, изредка поглядывая в его сторону. Николай пересел на соседний стул, чтобы оказаться к ней спиной, потом закурил-таки сигарету и стал глядеть на улицу, залитую вечерним солнцем, наказав себе более не вспоминать ни клиента, ни бездарно потерянный день.

Все-таки, толпа до странности однородна, – думал он лениво, – типажи все те же, разнообразия не сыщешь днем с огнем. Больше лиц, нежели голов, а душ еще менее, как говаривал Карамзин – трудно не согласиться. Вот только у мужчин от лица растет неинтересное тело, а у женщин, напротив, интересное тело дополняется лицом. Да и мысли у них мелькают чаще – нынешнему мужчине непросто отважиться на мысль. Напряжение душит и эмоций недостает, а те, что случились, застывают маской – и лица смиряются, устав спорить. Оттого-то они искривлены и смяты, это знаки смирения после недолгой борьбы. И еще многие словно кричат: «Как можно меня любить, если у меня нет денег?..» А женщина думает о вечном, ей, по большому счету, не с кем ввязываться в спор, вселенная все определила за нее. Интересно, они ощущают чуткую дрожь вселенной? Или все больше ссорятся из-за мишуры?

Николай взял новую сигарету из пачки и скривился с досадой – мысль о деньгах потянула за собой воспоминание о клиенте. Все одинаковы, все спешат, – подумал он сердито, – как будто каждому есть куда. Я вот не каждый, и мне, к примеру, спешить некуда вовсе, но все равно придется – из-за чужой спешки, которая бессмысленна, сплошная видимость и глупость. Бега, бега... У большинства на лбу так и написано флуоресцентом: «Я участвую в бегах проворных крыс», – и надпись не смоешь, как ни старайся. Оно не стыдно, просто звучит жалко. Не так уж они плохи, эти самые бега – не дают заскучать, жизнь проходит быстро, и мучения такие же, как у всех. Есть чем гордиться – если кто шныряет проворнее соседей; есть к чему тянуться – к тем, кто еще проворней и ловчей. Вон они, клацают когтями по асфальту – все на виду, смотрят свысока. Ну пусть, сейчас их время, а прочие на обочинах. Диспозиция изменилась и, может быть, навсегда.

Он отпил глоток из узкого стакана, потом заглянул в него одним глазом, зажмурив другой, как в калейдоскоп или подзорную трубу. В стакане было весело-разноцветно, словно в комиксе из воскресной газеты. Занятный узор, – подумал Николай, – и вообще, непонятно, чего я злюсь? Город как город, бывают и хуже, мне наверное следует его любить. Это экономика во всем виновата – нефть в цене, за ворованное не бьют по рукам, вот они и жиреют, позабыв об остальном. А сменится колея – опомнятся, остановятся, станут лучше, открытей. Нужен лишь небольшой финансовый крах, хоть я никому не желаю зла...

«Гриф, нажавшись падали, становится так тяжел, что его колотят дубинками», – вспомнилось неизвестно откуда. Бегите, бегите, все впереди, будет и вам счастье. И как судьбе не надоедает стричь всех под одну гребенку? – Николай отставил пустой стакан, глубоко вздохнул и потянулся всем телом. Тело откликнулось приятной истомой в мышцах, натруженных в спортивном клубе. Завтра на тренажеры, – прикинул он деловито, – а с вечером нужно что-то делать, никак не годится сдаваться и раскисать. Потом он почувствовал вдруг, что жара спала, и в воздухе грезятся уже запахи ночи, от которых раздуваются ноздри. Решение тут же созрело само собой, да и лежало, в общем-то, на поверхности.

Крамской помахал в пространство за спиной, и ему принесли счет, достойный шикарного манхеттенского бара. «Оставьте себе сдачу», – буркнул он официантке, замершей над плечом укоризненной тенью. Та ушла, не поблагодарив, а Николай достал свой сотовый, сделал один короткий звонок и, ощутив себя вдруг молодым и бодрым, поспешил к Петровке – ловить сговорчивое такси.

Глава 5

Все тем же жарким июльским утром американский подданный Фрэнк Уайт Джуниор вывернул на улицу Ривер Роуд со своего драйввэя в местечке Потомак, скрипнул покрышками на повороте и помчался к автостраде четыреста девяносто пять. Было еще очень рано, солнце едва взошло, и светофоры до сих пор мигали желтым. Его новенький «Додж» летел вольной птицей; на дороге больше не было ни души; буйная зелень подступала вплотную к обочине, дразня ощущением лубочной свежести. Ощущению немало способствовал кондиционер в салоне – влажная духота за стеклом уже набирала силу, но это не портило ничуть прелесть утра, словно сошедшего с журнальной обложки. Перед самым шоссе из кустов выскочил дикий олень, стал как вкопанный у края полотна, чутко поводя ноздрями, а вскоре показался и нужный съезд – «Додж» лихо вырулил в пустующий левый ряд и взял курс на международный аэропорт Даллес. Фрэнк Уайт Джуниор был совершенно счастлив.

Он летел в Россию, в которую когда-то был влюблен. Любовь эта началась в далеком детстве: много лет назад отцу Фрэнка предложили возглавить московский корпункт влиятельной вашингтонской газеты, на что тот согласился, несмотря на удивление всей семьи. Впоследствии об этом никто не жалел, кроме сослуживцев Уайта в головном бюро, ценивших коллегу за мрачный юмор и твердые принципы потомка пилигримов.

Это было время расцвета советского строя, переходящего понемногу в его закат. Шпионские страсти затягивались в тугой узел, и на плечи официальных лиц давил немалый пресс, заставляя быть бдительным до абсурда и подбирать с особой тщательностью выражения и знакомства. Семейство Уайтов готовилось к прозябанию в «медвежьем углу», к тревогам и лишениям, приближенным к фронтовым, но все оказалось не так страшно, а точнее – очень даже весело, куда веселее привычной американской жизни.

Легкие на подъем, Уайты быстро вписались в пестрый «западный круг», относимый в советской Москве к бомонду наивысшей пробы. Как следствие, «западники» оказались охвачены русским гостеприимством, пусть и переименованным на реалии социализма, но сохранившим многие из национальных черт – в частности, неутомимость и широту. Европейцы и янки, воспитанные на точности счета и занудстве повсеместного контроля, легко входили во вкус сытных излишеств пирамидальной системы, оказавшись вдруг в распределителе удовольствий, запущенном на полную мощность. Приемы, перфомансы и застолья без повода шли сплошной чередой. Разнообразие знакомств превосходило самые смелые ожидания, и ни о какой скуке не могла идти речь. Отец Фрэнка к тому же был сильно занят на работе, а мама, вместе с женой одного француза, в лучших традициях миссионерства опекала голодный андерграунд под внимательным, но осторожным оком вездесущего КГБ.

По ее настоянию Уайта Джуниора отдали в городскую школу – вместо посольской, более подходящей по статусу. Формальным поводом послужил русский язык – и стремление изучить его в превосходной степени, что впоследствии не обеспечит никакой университет. Втайне от мужа, считавшего русских занятыми, но совершенно нецивилизованными людьми, а их страну – обреченной на медленное умирание, миссис Уайт, очарованная Большим театром и картинами гениального алкоголика Зверева, подозревала, что русской мощи может хватить надолго, и языковая свобода поможет Фрэнку в будущей блестящей карьере. Было и еще кое-что, не слишком выразимое словами, с чем не уживалась казенная атмосфера посольских классов, но, впрочем, Уайт-старший лишь пожал плечами, полностью доверяя жене в вопросах воспитания и просвещения. В результате, маленький Фрэнк стал посещать пусть специальное, но вполне советское заведение с углубленным изучением математики, к которой у него не выявилось никакой тяги.

Школьные годы пробудили в нем многое и запомнились как самое светлое время в жизни. Сверстники приняли его неплохо, и он ничем не отличался от остальных – вплоть до старших классов, когда спохватившаяся миссис Уайт настояла на индивидуальной программе для подготовки в Гарвард. Но и тогда, чуть не каждый день, он проводил по несколько часов в обществе одноклассников, поблизости от темноволосой Наташи, завладевшей его подростковым сердцем. С ней лет в шестнадцать он обрел первый опыт жарких поцелуев, с нею же полюбил Москву навсегда, чувствуя себя здесь куда естественней и проще, чем в родной своей стране, где Уайты бывали лишь в коротких отпусках.

Окончание отцовской командировки грянуло для него, как гром с ясного неба, хоть в доме давно уже ходили слухи о завистниках, ждущих момента, чтобы занять их место. Момент настал внезапно, вскоре после смерти очередного генсека, на смену которому пришел человек, до сих пор ненавидимый Фрэнком и презираемый всей уайтовской семьей. Им лично, впрочем, он не сделал ничего плохого и едва ли вообще подозревал об их существовании, а Фрэнк Уайт-старший признавался потом со смехом, что не год и не два искренне верил в горбачевскую «перестройку», не замечая, подобно многим, ничтожество действующих лиц. Как бы то ни было, «свежая струя» всколыхнула течение жизни в американской газете, кое-кто подал даже в отставку, вытолкнутый новой риторикой и новыми людьми, да и, по правде говоря, директор московского корпункта и так уже сидел на своем месте куда дольше положенного. Уайты были отозваны и вернулись в Вашингтон, а сердце Фрэнка раскололось на множество частей, подобно стране, попавшей по недоразумению в руки безнадежных тупиц.

К своей родине, впрочем, он привык быстро, а подоспевший вскоре Гарвард придал ему необходимый лоск. Однажды он побывал в Москве с группой студентов-русистов и остался разочарован: Наташа вышла замуж и ждала ребенка, бывшие одноклассники разбежались кто куда, город бредил кооперацией и шальными деньгами. Люди радовались «переменам», сразу вдруг опростившись и поглупев, ненавистный молодой генсек сверкал лысиной с телеэкранов, о школьной юности напоминало немного. Вернувшись в Штаты, Фрэнк твердо решил забыть о России навсегда.

Семьсот сорок седьмой Боинг авиакомпании Дельта медленно выруливал на взлетную полосу. Фрэнк Уайт Джуниор сидел у окна, по соседству с рыхлым блондином, что сопел и пыхтел над непослушным ремнем. В салоне задавали тон французский одеколон и русская речь, лишь стюардессы щебетали по-английски и вовсе ничем не пахли. Прислушавшись на минуту, Фрэнк поймал себя на мысли, что воспринимает оба языка как один, лишь разбухший от необязательного сленга. Тут еще и сосед, пристегнувшись наконец, вытер пот со лба, глянул на Фрэнка и спросил радостно: – «Наш?»

«Кто?» – не понял Фрэнк Уайт, вздрогнув от неожиданности.

«Ты», – пояснил сосед и ткнул для определенности пальцем ему в грудь.

«Э-э, не совсем», – осторожно ответил Фрэнк Уайт, улыбнувшись широкой американской улыбкой. Сосед пробормотал «О'кей» и отвернулся, нахмурившись, а Фрэнк с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, ощутив вдруг в полной мере, что его приключение вот-вот по-настоящему начнется.

Ошибка блондина удивила его слегка – он совсем не был похож на русского. Потомок разорившихся баронов из Шеффилда, Фрэнк Уайт обладал внешностью, которую, при некотором допущении, можно было бы счесть безупречной. Он был в меру высок и широкоплеч, имел правильные черты лица с прямым аристократическим носом, и лишь глаза его казались слишком живыми для наследника столь старинных генов. В России он не был десять с лишним лет и плохо представлял себе страну, возникшую на месте той, что он знал когда-то. С тех пор слишком многое изменилось – и не раз. Карьерный рост Фрэнка оставлял желать

лучшего – вопреки надеждам миссис Уайт, обретенное в юности двуязычие отчего-то не пошло впрок, а род занятий оказался далек от «семейных» журналистских сфер. В Гарварде он защитил диплом по истории Древнего Рима – к немалому удивлению обоих родителей, которые не решились на прямой запрет, рассудив вполне здраво, что в их стране каждый должен глотнуть хоть чуть-чуть свободы. Тайны римской империи, включая изощренные практики Маккиавели, не слишком впечатляли работодателей, да и к тому же, получив заветную степень, Фрэнк почувствовал вдруг, что исчерпал интерес к исторической науке, а толстые фолианты нагоняют на него тоску. Он мыкался от фирмы к фирме, подвизаясь на вторых ролях то в маркетинге, то в связях с общественностью, пока судьба не завершила очередной виток, и в жизни Фрэнка Уайта вновь не зазвучала славянская тема. На вечеринке у случайного приятеля, слоняясь по комнатам роскошного особняка, он услышал слово, произнесенное по-русски, и познакомился с Акселом Тимуровым, нарушив тем самым шаткое равновесие своего беспечного прозябания.

Вначале Фрэнк принял его за европейца – Аксел умел пускать пыль в глаза и скрывать очевидное к своей моментальной выгоде. К тому же, в отличие от большинства «советикос», он неплохо владел английским, а еще – производил в целом мощное впечатление «успеха», ждущего где-то за углом. На это клевали почти все, заводившие с ним разговор, и даже призраки американской мечты оживали в его чужеземном присутствии – словно в укор местным продолжателям идеи, потерявшим былой кураж. Очень скоро, впрочем, возникало смутное беспокойство, закрадывалось подозрение, будто здесь что-то не так, а еще через несколько минут всплывал неоспоримый факт: Аксел Тимуров был безнадежно туп.

Тупость его была всеобъемлюща и абсолютна, она застила ему глаза и затыкала уши, но это, заметим, никак не противоречило «мечте», что и становилось понятно каждому после минутного замешательства. Собеседник успокаивался, поняв раз навсегда, где таится подвох, и уже не удивлялся дичайшим суждениям и неумению удержать даже самую простую мысль. Потом, вдобавок, создавалась иллюзия комфорта – казалось, ключик подбирается очень просто, так что зачастую именно недостаток ума служил Акселу входным билетом в довольно-таки серьезные круги, куда вообще не пускали иностранцев и особенно русских. Но Тимуров, щеголяя ярлыком удачи, будто прищипленным на лацкан, сходил если и не за своего, то за вполне безобидный казус, способный к тому же принести пользу. Его терпели, как туземца, нацепившего волей провидения облик «хомо модерно». При том, конечно, никто не упускал случая посмеяться за глаза. Нелепости Аксела пересказывали друг другу, производя его в герои абсурднейших небылиц.

По части абсурда, кстати, он и сам был мастак, подбрасывая насмешникам предостаточно материала. Самой анекдотичной стала легенда о его происхождении и завидном родстве, которую он придумал вскоре после приезда в Штаты и сам же отчаянно полюбил. Она была пущена в ход на приеме у консула Бельгии, куда Тимуров проник одному ему известным способом и где, основательно выпив шампанского, признался кому-то из посольских секретарей, что является дальним отпрыском последнего российского императора. Бельгиец не моргнул глазом, проявив профессиональную выдержку, и рассказал в ответ о любви к Чайковскому и яйцам Фаберже, а Аксел с тех пор не упускал случая, чтобы зажать в угол очередную жертву и спросить ее с печальной серьезностью: – «Вам, кстати, не говорили, что я родом из Царской семьи?..» Эта его маленькая слабость быстро стала известна, как еще один миф о «mysterious Russians», не умеющих жить без сказок. Иные зубоскалы впрямую заговаривали с ним о проблемах королевских династий, переживающих не лучшие времена. Но Аксел ничего не замечал – лишь напускал на себя таинственный вид и горделиво поглядывал по сторонам.

Именно о царской семье и услышал Фрэнк Уайт уже через полчаса после их знакомства. Это удивило поначалу, но он быстро научился относиться к Акселу терпимо, ценя воз-

можность вновь говорить на русском и ощутив внезапно, что стосковался по России. Они стали ненавязчиво дружить, а потом у Тимурова случился роман с кузиной Фрэнка, падкой на экзотику, в результате чего он перезнакомился со всей семьей Уайтов и произвел на них хорошее впечатление. Быть может и тут сыграла свою роль ностальгия по счастливому прошлому, особенно со стороны миссис Уайт, принявшей в Акселе нешуточное участие и представившей его родственникам и друзьям, среди которых были небедные и весьма влиятельные люди.

Надо признать, что при всех своих странностях Аксел имел неоспоримый талант. Он умел нравиться при первом знакомстве, сразу изыскивая шестым чувством верный повод для тонкой лести, а пресловутый призрак «успеха», витающий кругом как нимб, с лихвой компенсировал его глупость. Из чего происходил «успех», точнее его неуловимая тень, Фрэнк так никогда и не смог понять. Дела Аксела до знакомства с Уайтами были не слишком хороши: свой бизнес, которым он бредил, не приносил ни гроша, а средства на жизнь приходилось зарабатывать в Национальном институте здоровья, где начальник-немец, не любивший славян, шпынял его, как ленивого мальчишку. Тем не менее, чуть не все готовы были поверить в грядущий блеск, что Аксел расценивал вполне здраво как единственный реальный шанс, что вот-вот должен был привлечь долгожданную удачу.

Он легко убедил Фрэнка в перспективах совместного дела. Они стали партнерами и принялись искать деньги, рассчитывая не на банки, у которых не выпросишь ни гроша, а на все тот же уайтовский круг, благосклонно отнесшийся к начинанию. К тому времени Аксел зазубрил уже наизусть выигрышные места многострадального бизнес-плана, да и диплом Фрэнка с престижным гарвардским лейблом тоже пришелся кстати. Всего за месяц они насобирали немало, что позволило всей затее не умереть, едва родившись, и волей-неволей связало их прочной нитью на довольно-таки долгий срок.

С той поры прошло пять с половиной лет. Они перепробовали многое, включая щенков русской борзой, изделия из бересты и даже редкоземельные металлы, из-за которых случались маленькие неприятности с ФБР. В конце концов, самой выгодной статьей импорта оказались российские программисты, на чем приятели и остановились, удачно влившись в модную нишу защиты от хаккеров, наводнивших мир. Программисты были неразговорчивы и пугливы; приходилось учить их таким простым вещам, как дезодорант и вождение машины; при появлении начальства они сбивались в кучу и прятали глаза с кривоватой усмешкой, но в целом оказались светлы душой и на редкость работоспособны. Бизнес пошел вверх, Аксел Тимуров раздобыл и стал неприятно-заносчив, но с Фрэнком держал себя по-прежнему ровно, ибо именно Фрэнк Уайт, как никто другой, умел обходиться с программистской братией и тем самым сделался незаменим. Он, в свою очередь, давно уже недолгоблively Аксела, обнаружив в себе редкую для американца нетерпимость к дуракам, и подумывал даже, не уйти ли из компании насовсем, но всякий раз ловил себя на сожалении, уходящем корнями в школьные годы, с которым почему-то не хотелось бороться. К тому же и к программистам он привязался по-своему – это были странные создания, питавшие к нему угрюмое, пугливое доверие, которым стоило дорожить. Тимурова же Фрэнк стал рассматривать как символ иной, незнакомой ему России, где столь многое чуждо, но, увы, неопровержимо. Он даже говорил о нем как о «новом русском» – подсмотрев где-то популярный термин и желая подчеркнуть, с наивностью постороннего, что русские раньше были другими. Потом им случилось столкнуться с настоящими «новыми», и Фрэнк понял, что был неправ. В его сознании произошел еще один сдвиг; Аксел Тимуров сделался для него вневременной флуктуацией богатого русского генотипа. Уайт переживал лишь, что прочие, глядя на его партнера, еще будто поглупевшего и походящего теперь на павлина, могут составить ложное представление о стране, достойной более вдумчивого взгляда.

Была и еще одна вещь, служившая для Фрэнка источником беспокойства – с некоторых пор он стал ощущать отсутствие твердой почвы под ногами. Ему казалось, что он снова хочет ТУДА, и винить в этом было некого, кроме разве тех же программистов. Два континента тянули его к себе, и порою он оказывался как бы между, над равнодушным океаном, не в силах качнуться ни в одну из сторон. Между ним и Россией осталась какая-то связь, как невидимая пуповина, хоть общаясь с русскими на своей земле, Фрэнк Уайт Джуниор чувствовал себя американцем до мозга костей. В кругу соотечественников, однако ж, он с некоторых пор стал испытывать неуверенность, будто подозревая себя в шпионстве, глядя на окружающее со стороны, чужими глазами, как через тонкое, но прочное стекло. Это была раздвоенность, временами становящаяся мучительной – ощущение невнятной тоски приходило нечасто, но регулярно, и не покидало Фрэнка так уж легко. Он даже наблюдался у врача, не нашедшего никаких отклонений, а потом, встревожившись не на шутку, обратился к дорогому психотерапевту. Однако тот, уже на втором сеансе, стал задавать вопросы о детстве с нехорошим подтекстом, и Фрэнк решил, что тратит свои деньги зря.

В нем росло напряжение, он ждал знака или толчка, и, наконец, ровно месяц назад произошло событие, выходящее из ряда вон. Ему встретился человек, которого звали Нильва; это была фамилия, столь же странная, как его лицо и одежда, а своего имени он никому не сообщал из суеверия, суть которого осталась неясной. Они познакомились у Аксела дома, и Нильва был отрекомендован Фрэнку как сосед по питерскому двору, приятель детства, внезапно возникший из небытия. Тот и в самом деле лишь недавно объявился в Штатах, прибившись к еврейской коммуне в окрестностях Сан-Франциско, а на другое побережье его занесли, как он выразился, дела семьи – хоть семья все еще ожидала очереди на выезд в ветреном и хмуром российском краю.

Нильва атаковал Фрэнка Уайта, как тщательно выслеженную дичь, и уже через час признался, что обременен тайной, которую вскоре со всеми подробностями раскрыл. Удивительно, но Фрэнк поверил в нее сразу, распознав будто, что судьба толкала его к ней уже давно. Для этого когда-то его научили говорить по-русски, свели сначала с Акселом, а потом и с акселовским «другом детства», и все время поддразнивали далекой страной, будто держа в готовности к большому делу. Еврей Нильва с грустными глазами как раз и предложил такое. Посопев и поморщившись, он поведал Уайту Джуниору, что имеет на руках подлинный план богатейшего клада, хоть и уступающего, к примеру, известному захоронению Чингисхана, но все равно способного навсегда обеспечить счастливец, который его отыщет. Этот клад – не что иное, как часть добычи, награбленной разбойником Пугачевым, а бесценная бумага попала Нильве в руки благодаря цепочке случайностей или звездам, вставшим в правильную фигуру.

Потом он зачастил, брызгая слюной и порой переходя на шепот. В его истории не было ярких красок, но обыденность ее не портила впечатления и не порождала сомнений. Все началось с благородного порыва – шефской помощи отсталой глубинке: в музей Эрмитаж, где Нильва трудился с юности, прибыл на анализ контейнер старых рукописей, вывезенных из хранилищ провинциальных городов. Каждому из сотрудников досталось по несколько ящиков, в которые никто не совал нос уже многие десятки лет. Рукописи были свалены без всякого порядка, состояние некоторых было ужасающим, и специалисты-петербуржцы лишь вздыхали, глядя на это безобразие. Он и сам, признаться, был не в восторге от свалившейся на них неблагодарной работы, но потом, как водится, вошел во вкус и зарылся в старые бумаги с головой. Тут-то его и поджидал невероятный сюрприз.

«Нам раздали ящики, и это был ‘раз’, – бормотал Нильва, потрясая ладонью с загнутым пальцем. – А потом стало ‘два’: один из моих пришел из Сиволдайска – города, который, между нами, не примечателен почти ничем. Но это если рассуждать без контекста, а ящик был в контексте, то есть, сам контекст, частично пораженный плесенью, находился в ящике,

заполняя его целиком. Ибо, – он загибал палец, – ‘три’: все почти, пришедшее из Сиволдайска, оказалось славных пугачевских времен, а о Пугачеве – о, о нем я знал достаточно, чтобы тут же поймать интерес. Ведь именно под Сиволдайском, уже на обратном пути, потерпел разбойник сокрушительное поражение. Был там наголову разбит и едва унес ноги, отступил без почета с горсткой людей, среди которых были и те, что предали его потом – скоро уже, совсем скоро...»

«В общем, – загибал Нильва пальцы, – ‘четыре’, ‘пять’ и ‘шесть’». В Сиволдайской крепости почуял Емельян скорую гибель. Там коснулся его ледяной холод, и стал он терять веру в человеческий род – сделался хмур и скрытен, и до страшного черен лицом. И там же, в одном из припадков отчаянья, наказал он двоим самым преданным людям зарыть в укромном углу половину всей своей казны, да не говорить о том никому во избежание воровства и измены. На что он хотел ту половину употребить, знают лишь бог и покаянная разбойничья душа, но слушок о содеянном потянулся сам собой, хоть исполнители молчали, как могила, а в скором времени и очутились в могиле, погибнув от императорских пуль. Сама же казна была не из скромных, там хватало золота и камней, собранных по разоренным домам, а поскольку домов разорили без счета, то и половина потянет на сумму, от которой у любого загорятся глаза. И искать тот клад пробовали, но, как водится, все без толку, потому что – как искать, если не очень-то знаешь, где. «А теперь вот известно, где – я знаю, ГДЕ!» – вскричал Нильва и тут же испуганно прикрыл ладонью рот, а потом, передохнув и посетив стол с напитками, досказал историю, финал которой вышел весьма печален.

Бумага с планом – выцветший невзрачный листок – сама легла ему в руки в процессе описи «документов эпохи», сваленных в пресловутом ящике беспорядочной кучей. Подлинность ее была, очевидно, слабейшим местом всего рассказа, но Нильва с такой горячностью стал приводить доводы, ссылаясь то на данные химической экспертизы, то на почерковедение и совпадение дат, что Фрэнк, не знавший многих слов и скоро потерявший нить, согласился, не дослушав. «Вы ведь сами специалист, – резюмировал новый знакомый чуть обиженно, – сами должны понимать... Я ж не втираю вам тут...» – и Фрэнк Уайт поспешно закивал, а Нильва заговорил дальше, сделав теперь страдальческое лицо.

Ему, право, стоило посочувствовать. Убедившись в серьезности вдруг выпавшей удачи, он почти уже наметил конкретные шаги, и вот тут-то судьба сыграла с ним злую шутку. Нежданно-негаданно, из добропорядочного гражданина, пусть и прозябающего бесславно на обочине жизни, он превратился в преступный элемент с перспективой провести в этом качестве ближайшие годы. России знакомы такие метаморфозы, она их любит и знает без числа, ну а с ним все произошло очень глупо и совсем не по своей вине. Давние друзья убедили его войти в партнерство – по другому, конечно, поводу, не связанному с пугачевским кладом. Он согласился, обдумав все сотни раз, и поставил злосчастную подпись, после чего очень скоро нагрянули люди из серьезной «конторы», и всплыли деньги, о которых он знать не знал, и какие-то вкладчики, и долги... В общем, его подставили, в этом суть произошедшего. Ему пришлось бежать из России, захватив с собой лишь носильные вещи, чуть-чуть валюты и документ, открывающий путь к роскоши и богатству. Хорошо еще, что в паспорте стояла многократная американская виза – Нильва гостил у родственников и вернулся совсем недавно – а иначе, прощай свобода, а может быть и жизнь. Ну а так – осталось лишь переправить сюда терпеливую семью и найти человека понадежней, чтобы достать-таки из-под земли разбойничьи сокровища, ждущие своего часа.

Потому-то, продолжал он, взяв Фрэнка за рукав и ласково глядя в глаза, потому-то он так рад их приятному знакомству, ибо Уайт Джуниор, владеющий языком и имеющий о России представление «из первых рук», практически единственная персона, которой Нильва, чрезвычайно осторожный человек, может по-настоящему довериться. «Русские, – кивнул он головой в сторону акселовских гостей на веранде, – русские обязательно обманут и еще

почтут за большой поступок. Завистливы все, завистливы и злобны, и готовы соседу выколоть глаз. Раньше было не так...» – и он пустился в воспоминания, вовсе уже не связанные с их совместной авантюрой.

Они виделись еще два раза, обсуждая в общем-то одно и то же, а потом ударили по рукам. Найденное решено было делить пополам – Фрэнк подозревал в этом несправедливость, но его партнер оказался неожиданно тверд, чуть речь зашла о долях и процентах. Некоторую заминку вызвал и вопрос гарантий – Нильва не сомневался в честности Фрэнка, но, зная переменчивость людских намерений, хотел доказательств серьезности компаньона. Сумма в несколько тысяч долларов, признался Нильва, вполне убедила бы его, что Фрэнк не передумает и не займется чем-нибудь другим, пока сам он будет ждать и терять время. Затем, видя сомнения Уайта Джуниора, он спустился с нескольких тысяч до одной единственной, но с нее уже не сходил, на что Фрэнк в конце концов согласился, убедив себя, что каждый должен иметь страховку на случай «lost opportunities». В результате произошел торжественный обмен – ксерокопии старинного документа на тонкую стопку стодолларовых купюр – и каждый отправился заниматься своим делом. Нильва – хлопотать о переезде семьи, а Фрэнк Уайт – оформлять скорый отпуск и паковать вещи, которых, впрочем, набралось не так уж много.

Теперь бесценная ксерокопия лежала во внутреннем кармане пиджака, Фрэнк летел над хмурой Атлантикой и был весьма доволен собой. Несмотря на фантастичность проекта, он твердо верил в успех, поджидающий впереди. Обдумывая предложение Нильвы, он изучил таблицы звездных знаков – все указывало на Пегаса, гордое существо, что парит над условностями, зная свое везение, свою особую участь. Замысел небес был сложен и растянулся на годы – но отчего бы, собственно, ему не быть таковым? Там, где решают за Фрэнка Уайта, нет ни суеты, ни спешки, ни боязни остаться не понятыми до конца.

Меньше всего на свете он хотел спугнуть счастливый шанс. Шансы представляли перед ним не часто, куда реже, чем он сам о них думал, вспоминая сокурсников, взлетевших по-настоящему высоко. Фрэнк не испытывал зависти, но и не считал себя достойным худшей доли – и потому, вполне в национальном духе, тщательно пестовал свой собственный оптимизм, едва лишь для того выдавался повод. И сейчас, глядя из окна Боинга на пелену перистых облаков, он не мучился перепроверкой посылок, а напрямую размышлял о следствиях, к примеру о том, что будет делать с добытым богатством – рисуя картины, полные домислов и клише. В голове у него, сменяя друг друга, вертелись дома, машины и яхты, дорогие женщины и их капризы, пальмы на фоне прибрежной лазури, собственные повар и бодигард. Это было наивно и очень по-детски, в чем он и сам отдавал себе отчет, полагая однако, что толика фантазий едва ли может чему-то навредить.

Затем размышления приняли более рациональный оборот. Фрэнк стал прикидывать так и сяк реализацию давней своей мечты, на которую не жаль было потратить часть будущих денег. Мечта отдавала некоторым сумасшествием, но имела амбицию большого масштаба, чем он гордился втайне от себя самого. Турбины гудели ровно, и мысли текли плавно, как строки на бумаге, а облака внизу сочетались в затейливые узоры, в которых чудились то чьи-то силуэты, то письма, то очертания зданий. Порой там будто даже возникали цифры – тройки, сцепившиеся вереницей, или пятерки, воплощения изменчивого Меркурия, обещавшие столь многое в многоликой Москве.

Глава 6

Николай Крамской трясся в потрепанной черной «Волге», пробираясь дворами в объезд Кутузовского, скованного пробкой. Он страдал от духоты и пыли, но глядел орлом и пребывал в нетерпении. Все в нем изменилось, как по волшебству, от недавней тоски не осталось и следа. Подпрыгнув на бордюре, машина выскочила на окраинную улицу, вильнула, объезжая открытый люк, и прибавила хода. Николай откинулся на спинку сиденья и что-то задорно просвистел. «К бабе едет, – подумал немолодой шофер. – Любитель, небось, по бабам шляться».

Шофер был прав – обиды ранней молодости давно забылись, и уже много лет женщины занимали в жизни Николая весьма заметное место. Его тянуло к ним по причине острого любопытства, не иссякшего к сорока годам и не связанного с переизбытком гормонов. До сих пор еще он готов был видеть в них тайну – ту, что может захватить и обезоружить, пусть лишь на краткий миг. Его волновали порыв и отклик, он часто думал, что родился в правильном месте – касательно мимолетных тайн Россия стояла особняком, а поездки в иные страны лишь убеждали в очевидном.

Соотечественницы не уставали удивлять – сочетанием чувственности и невинной позы, соседством скромности, пусть напускной, и грубо выраженного сексуального начала – в груди и бедрах, прикрытых одеждой, в голосе и походке, которые не скроешь. Иную из подруг бывало непросто расшевелить – хоть тело часто откликалось раньше сознания, застывавшего невпопад перед невидимой гранью. Но потом, когда шаг был сделан, и эмоциям давался зеленый свет, все оковы спадали сразу, и уже сознание летело впереди, увлекая за собой. Восторг от придуманного, часто без усилий со стороны, вызывал реакции, которых не добиться никаким любовным искусством. Оставалось лишь тонуть в женском естестве, хватать воздух, не чая вернуться на твердую сушу, а после – долго еще вспоминать стихии и глубины, безумства штормов и тишайшие дуновенья, каждое из которых имеет свой собственный смысл.

Когда успокаивались тела, все становилось скучнее – приходила очередь томных повадок, порывистость откровений уступала место игре, давно знакомой и не имеющей вариаций. Глубина тут же обращалась мелью, хотелось курить и думать о своем, что Николай и делал, отстраненно кивая в ответ на жеманный шепот. Некоторые оставались искренни всегда, но таких было до обидного мало, а с другими выяснялось, что накал любовной страсти – очень непостоянная величина. Она зависела в полной мере от настроений партнерши, которые менялись слишком часто. Поначалу он сердился и даже обижался порой, но скоро научился принимать и это как должное, находя интерес в извечной непредсказуемости и возводя ее в ранг национальных достоинств, пронесенных почти без потерь сквозь века и общественные уклады.

Вообще, повзрослев, Николай стал куда терпимей. После неудавшейся женитьбы он, по большей части, избегал постоянных связей и опытов совместного житья. Лишь когда «отдельность от остальных» встревожила его всерьез, он вновь, пусть ненадолго, возобновил поиск партнерши «на остаток лет» – связующего звена между ним и «остальными», позицией постороннего и обычной жизнью вокруг. Однако ж, стоило ему возжелать постоянного, предмета грез неприкаянных обольстительниц, как тут же все обольстительницы перестали быть неприкаянны, и Крамскому оказалось не из кого выбирать. В конце концов он познакомился все же с высокой и чуть сутулой переводчицей из МИДа, истосковавшейся без секса, которая накинулась на него, как тигрица. Ее порыв был столь силен, что он принял его за свидетельство большого чувства, но спустя месяц новая подруга стала посматривать на него с сомнением и не спешила признаваться в претензии на долгосрочность. Тогда Нико-

лай решил, что все дело в косности женской мысли, и стал доказывать недоказуемое, изо всех сил демонстрируя избраннице, что он подходит на роль «настоящего мужчины». Так прошел еще месяц, в течение которого он с методичным упорством чинил многочисленные электроприборы, рассуждал об оружии и машинах и проявлял сочувствие к сентенциям о природе женщины, нуждающейся в понимании и защите. В результате, переводчица разорвала их связь, сообщив, что он чересчур зануден – к немалому его облегчению, ибо вся эта суета оказалась утомительной на редкость. Крамской остался там же, где начинал, сожалея лишь о том, что вел себя глупо, не разглядев в предполагаемой невесте блески неординарности, которая встречается нечасто.

Сразу после этой истории, не успев перевести дух, Николай воспылал страстью к продавщице из отдела галантереи, поразившей его порочной линией губ и острыми ключицами вчерашней школьницы. Больше от школьницы в ней не было ничего, она оказалась на полтора года его старше, но что-то и впрямь запало ему в душу – он страдал и мучился почти взаправду, добиваясь этой женщины, как чего-то, важнейшего на свете. Добившись же ее и пережив несколько горячечных дней, он решил, что это и есть настоящая близость, которой у него не было никогда и ни с кем, а белокурая Людочка – восхитительное, одухотвореннейшее существо. Вскоре выяснилось впрочем, что ее уступчивость слишком уж прагматична, а потом он узнал еще, что у продавщицы имеется бывший муж, с которым она встречается до сих пор, ибо не может себе в этом отказать. Претензии Крамского, ошеломленного последним обстоятельством, остались ей непонятны. Они поссорились довольно-таки некрасиво, и чувства его иссякли в один миг – так что и вспоминать о них было потом неловко.

Чтобы отвлечься, Николай укатил на две недели в Прагу, полную доступных меркантильных чешек. Вернулся он оттуда значительно посвежевшим и постановил, что романтизм допустим отныне лишь в тщательно отмеренных дозах. Он стал скуп на красивые слова – многие из подруг находили это забавным, путая, как обычно, следствие и причину. Когда же случались обиды, Николай разъяснял все вполне искренне, не желая кружить головы понапрасну и приводя в оправдание «труды» и «раздумья», на которые тратится его душевный пыл. «За ними стоит вечность, – признавался он скромно, – потому они достойны больших усилий», – а на попытки уязвить отделялся остротами, так что все понимали, что с него нечего взять, и не строили иллюзий, существенно облегчая ему жизнь.

Годам к тридцати пяти Крамской стал считать за норму поверхностную природу своих романов, научившись контролировать их продолжительность и частоту, а потом произошел случай, открывший и еще кое-что – иной ракурс и новую колею. Он встретил «сладкую Яну» – двадцатилетнюю студентку-гимнастку, ласковую и гибкую, бесстыдную и не унывавшую никогда. У нее часто сменялись мужчины, она отдавала каждому лишь малую часть себя, но создавала из этой части уютнейший мирок, удобно обустроенную квартирку, которую так не хотелось покидать. Любовники обожали ее и носили на руках, холили и облизывали с ног до головы, а она лишь мурлыкала и потягивалась всем телом, всегда зная в точности, чего ей хочется и зачем.

С ней Николай ощутил очень остро разность в годах и пропасть в мировоззрениях. Это было милосердно, в этом были новизна и сладостная боль. Он понял, что молодость – это яд страшной силы, и ничего не сделать с собственной нежностью, которую хочется расточать и расточать. Будущего не было вовсе, и не было двойной игры – тем острее переживалось настоящее, в котором дозволялось почти все, включая и пресловутый романтизм, что был теперь безопасен, ибо никого не мог обмануть.

Они встречались не так уж долго, но случай многому его научил. Он почувствовал, что не должен легко раскрывать себя перед ней, срывать покровы и отстегивать броню. Знание должно копиться по крупичкам – и он выдавал его по крупичкам, скрывая главное, отшучиваясь и ускользая, тщательно подбирая многозначные слова. Гибкая Яна с удовольствием

приняла игру, и призрак тайны, как мистический отсвет, будоражил ее воображение, а с ним и чувственное желание, перекликаясь с собственной женской мистерией, которая есть всегда. Так Николай открыл для себя счастливую формулу: своих любовниц он находил теперь среди совсем молодых девчонок, предпочитавших мужчин постарше мускулистым сверстникам с дворовыми замашками. Пусть у многих из пассий были острые акульи зубы, но смотрели они открытым взглядом, даже не начав еще уставать от жизни и бояться нестрашных вещей. Разница в возрасте казалась им огромной, туда можно было вместить что угодно – он подбрасывал слова-намеки, и они сами придумывали небылицы, увлекаясь им еще сильнее и сильнее волнуя его собой.

Крамской, к тому же, привлекал их внешне, они видели в нем героя – темного мефистофельского толка. Он был высок и чуть сутул, сухощав и породист. Его темные волосы почти не поредели, но в них уже пробивалась седина – это тоже вызывало известный интерес. Да и серые глаза, и сам взгляд служили хорошей приманкой – тонкие губы и чуть заметный шрам делали его взыскательным и дерзким, что порой, особенно в полумраке, действовало безотказно.

Истории, как правило, выходили краткими, но это принималось как должное – к тому же, Николай обнаружил с удивлением, что юных красоток, желающих иметь с ним страстный эпизод, куда больше, чем ему казалось. Они не искали совместного быта, надежной стены или крепкого мужского плеча. Им хотелось наслаждаться жизнью – не думая о замужестве и сложностях бытия. Крамского это устраивало вполне, он будто даже помолодел и воспрял духом. Тягостные мысли о старении и скорой потере сексапила вовсе перестали его посещать. Он задористо косил глазом в московской толпе и считал свою личную жизнь удающейся на все сто.

С той, к которой он мчался теперь, ерзая на сиденье чужой машины, все было по-другому, хоть и ей едва исполнилось двадцать три. Они знали друг друга уже не первый год, и «страстному эпизоду» давно пришла пора сойти на нет. Тем не менее, у него в душе перекликались бодрые голоса, а пальцы сами выстукивали дробь на пыльном пластике подлокотника.

С Жанной, носившей смешную фамилию Чижик, он познакомился три лета назад неподалеку от Кремля. Накануне ему приснился странный сон – там была девочка, бродившая по городу с ручным тигром на поводке. Утром видение все стояло перед глазами, и Крамской отнесся к нему серьезно – бросил дела и пошел шляться по улицам, зорко глядя по сторонам в поисках девчонки с тигром, по которому только и можно было ее узнать. В одном из переулков он спугнул черную кошку, потом заплутал в подворотнях и с трудом выбрался к знакомым улицам, а к полудню отчаялся вовсе и, оказавшись у Красной площади, заговорил с первой попавшейся незнакомкой, ничем не похожей на ту, из сна.

Он сразу признал в ней провинциалку и был снисходительно-небрежен. Сон и девочка с тигром уже отодвинулись далеко, черная кошка, наверное, давно о нем забыла, все было просто, обыденно и скучно. «Вы не знаете, где здесь продают шампанское?» – спросил он Жанну Чижик, увлеченно поедавшую эскимо, на что та лишь распахнула глаза и замотала головой. «А я знаю, – сообщил Крамской, вздохнув. – Не желаете составить компанию?»

Они выпили шампанского в баре одной из гостиниц, где на Жанну поглядывали с неприятной усмешкой. Потом он катал ее на речном трамвае и кормил недорогим обедом, а после они поехали к нему и без лишних слов занялись любовью. Она считала, что должна ему отдаться – к тому же, Николай был галантен и очень ей симпатичен. Конечно, у себя дома она бы не разрешила тех вольностей, на которые он склонил ее в своей московской квартире, но в большом городе все было не стыдно, а кое-что оказалось до странности при-

ятно. Уже на другой день Жанна решила, что очарована на всю жизнь, и вспылала к Крамскому бесхитростной страстью, озадачив его и напугав.

Возникла дилемма, знакомая многим: ему хотелось избежать усложнений, но и при том терять Жанну так скоро не было ни малейшей охоты – она влекла его чем-то, задев глубокую струну. Сердце Николая оставалось спокойно, но разум противился разлуке, тем более, что Жанна Чижик не собиралась назад в маленький волжский город, решив начать новую жизнь, с Николаем или без. Он представлял себе прекрасно те пучины и бездны, что ждут за дверью его подъезда, готовые поглотить ее вместе с тысячами других таких же, чтобы смять, искалечить, переделать на третьесортный лад и выплюнуть в толпу, навесив грубые ярлыки. В ней был кураж, были искренность и свежесть, что имели здесь копеечную цену, и он хотел владеть ими или хотя бы иметь к ним доступ, но отнюдь не в ущерб свободам и привычкам, расстаться с которыми казалось немыслимой авантюрой. Потому, кривясь от собственного вранья, он стал лавировать и юлить, а потом, придумав удачный план, использовал всю силу убеждения, на которую был способен, да и Жанна проявила трезвость рассудка, понимая наверное, что сбыться всем мечтам сразу – это уж чересчур. В результате они нашли компромисс, устроивший обоих, хоть она и поплакала немного, жалея себя и скорую влюбленность, но слезы быстро просохли – от избытка впечатлений и природного легкого нрава.

Николай снял ей квартиру и устроил в колледж средней руки, а еще – платил зарплату секретаря, вовлекая ее бесстрашно в свои «дела», к чему она относилась со смущавшей его серьезностью. Денег выходило немного, но Жанне и не требовалось много, запросы ее были весьма скромны – по крайней мере, до наступления некоего «будущего», о котором иногда говорил Николай. Его детали не разглашались и не обсуждались никогда. Жанна даже и не пробовала о них размышлять, лишь чувствуя в себе нерастраченный пыл, который вырвется когда-то наружу. Пока же ей нравилась ее жизнь, и она не хотела никакой другой.

Для Николая все вышло сложнее, хоть и не то чтобы слишком сложно. Они стали друзьями, созванивались каждый день, иногда спали вместе, не придавая этому большого значения. Он не знал, были ли у нее другие мужчины, полагал что были, но не задавал вопросов. Его мучили иные вещи – к примеру, истинный смысл всей довольно-таки громоздкой затеи, который оставался неясным и не поддавался формулировке. Потратив столько сил, он не мог теперь удовлетвориться малым – «любовница» или «содержанка» оскорбили бы внутренний слух, решился он подумать о Жанне столь примитивно-просто. Нужное слово все не шло на ум, и это раздражало, как обидная недосказанность, а потом, по истечении года, возникло и еще кое-что, сидевшее занозой – то и дело он ловил себя на мысли, что владеет в ее лице слишком многим, за что в будущем могут очень даже строго спросить. Крамского не оставляло предчувствие, что когда-то она исчезнет из его мира, найдя другой, где ему не будет места, а началось все опять со слишком подробного сна – точнее, с череды сновидений, связанных общей нитью, в одну из душных ночей, когда простыня липла к телу, а открытое окно впускало звуки, но не прохладу. Сон был долог, там были Жанна, приморский город и яркий камень аметист – и она покинула его во сне и забрала камень с собой. Он очнулся с лицом, мокрым от слез, проспав почти до полудня, и долго не мог понять, отчего воображение разошлось с такой силой. Аметист был как настоящий, а прочее так и осталось загадкой, размышлять над которой совсем не хотелось. Он почувствовал лишь, что Жанна Чижик имеет над ним какую-то власть, что было неприятным открытием и могло нарушить устойчивость их союза.

Николай тогда утратил покой, опасаясь новой горячки чувств, и быстро убедил себя, что не хочет и не может уже наверное полюбить ни Жанну, ни кого-то еще. Но осадок остался, он понял, что терять можно даже и не любя. Злосчастный сон надолго врезался в память, и он порой стал испытывать страх – перед грядущей потерей. Потом он научился загонять его внутрь, глубоко-глубоко, откуда почти не слышно, и ощущение устойчивости

вернулось на место, хоть он и стал внимательней за ним следить. Даже к «делам» он относился по-другому с тех пор, как Жанна заняла в них свою скромную нишу. Теперь нельзя было ударить в грязь лицом и предстать неудачником, пусть на краткий срок, да и к тому же он побаивался оставить ее без занятия и высвободить пространство, которое тут же заполнится чем-то иным.

Он приучал ее к музыке и хорошим картинам, порой приносил ей книги, никогда не заставляя читать через силу. Понемногу у нее развивался вкус, ее вопросы ставили его в тупик, что не могло не радовать и не приносить удовлетворения. Он стал представлять себе в фантазиях, что Жанна Чижик – тайное оружие, ждущее своего времени. Что когда-то, когда она станет «готова», он поймет, как использовать в полной мере все ее умения и таланты. Однако, подробности грядущих битв, где они сразятся наконец бок о бок, не давались ему никак, что конечно злило не на шутку. Тогда Николай прикрикивал на себя, прикрываясь велением высшей силы, очевидно вновь решившей что-то за него, и успокаивался на сиюминутном, дарившем осязаемые радости. При этом он отмечал с удовлетворением собственника, что бывшая провинциалка до сих пор еще кристально честна и не слишком уверена в себе, а потому и не способна пока справляться в одиночку с реалиями московской жизни.

Жанна не была стеснительна, но порой проявляла робость в самых неожиданных вещах. Больше всего на свете она ненавидела железные дороги – все ее детство прошло на захолустной товарной станции в семье стрелочницы и машиниста. Незадолго до школы родители развелись, и отец женился вновь на осмотровщице поездов, что работала все в том же депо. Это повысило их социальный статус, но отношения с мачехой не сложились, и Жанну отправили в кадетский интернат, который она полюбила всей душой. У нее и сейчас хранилась форменная курточка с погонами курсанта, символизирующими, ни много ни мало, достоинство и честь. Снятие погон или даже одного из них за какой-нибудь неприглядный поступок было для кадетов стыднейшей карой, олицетворением позора, страшнее которого не бывает – и это въелось в сознание Жанны Чижик навсегда.

Она, как правило, нравилась себе самой, хоть и подмечала, что многое в ней далеко от идеала. Так, ей казалось, что она хитрит слишком часто, хоть все ее хитрости были весьма наивны. В детстве от нее, завзятой сладкоежки, мать прятала шоколадные конфеты – она находила их и съедала ровно столько, чтобы недостача не бросалась в глаза. Потом, когда она немного подросла, старший брат запрещал ей пользоваться игровой приставкой, к которой ее тянуло, как магнитом. Это было уже не так невинно, она стала изобретательней и ловчее, выслеживала его, как настоящий детектив, и научилась замечать следы. С тех пор, узнав в себе склонность к подобным вещам, Жанна стала считать себя немного испорченной, хоть на деле была простодушна и открыта – благодаря то ли кадетской выучке, то ли просто внутренней цельности, пока еще не разменянной ни на что.

Внешность ее, впрочем, намекала на другое. От природы она была рыжеволоса, чуть веснушчатая и сероглаза. Ее легче было представить разгуливающей по крышам или летящей в ночь на послушной метле, нежели корпящей трудолюбиво над основами пиара и психологии масс. Ее улыбка напоминала порой лисью ухмылку, она знала это и в следующей жизни хотела стать небесной лисой. Ей подошло бы лукавить без устали – с естественностью шепота или дыханья – кружить голову и сбивать с толку, обманывать и добиваться своего. Но именно обман был чужд ей больше всего и, несмотря на лукавый профиль, от нее исходило столько светлого чувства, что вскоре каждый понимал: она не принесет вреда. Наверное, повстречав раз, ее непросто было забыть – Николаю казалось даже, что по Москве бродят целые толпы видевших ее мимоходом и с тех пор утеревших покой и сон...

Расплатившись с водителем и легко взбежав на третий этаж, он замер на мгновение перед кнопкой звонка – словно в нерешительности, собираясь с мыслями. Это было глупо, Крамской тут же обругал себя быстрым шепотом, а потом ухмыльнулся довольно-таки про-

хладно в ответ на горячий поцелуй, и еще какое-то время был нарочито деловит, пока его рыжеволосый агент, разместившись на широком диване, сверкал глазами и всплескивал руками, повествуя обо всем, что случилось за день.

Как обычно, ей было, что рассказать – хоть они не виделись всего трое суток. Николай всегда отмечал с завистью, как много событий уместается в ее днях, и как в любом из них она находит какой-то новый смысл. С нею он размякал душой, теряя ощущение часов и минут – время Жанны текло неспешно, несмотря на бойкий пульс города за окном. Тут, в своей квартире, она жила в собственном ритме, который захватывал Николая куда более властно, чем он сам хотел бы себе признаться.

Главной темой сегодняшнего рассказа был звонок дальнего родственника – из того самого городка, где прошли ее детство и юность. Вообще, о родных местах она говорила редко – досыта насмотревшись на убогий быт, берущий начало сразу за московской окружной дорогой. Она вспоминала лишь испытые лица, нужду, грязь и скуку, от которых хочется бежать, не оглядываясь, да и родственник был обычной пьянью и жил в нищете, перебиваясь случайными заработками. Но при том, потратившись на дальний звонок, он просил не денег, а книг – с оказией или по почте. Это было более чем странно, и она относилась к этому, как к нелепой блажи, поглядывая на Николая чуть жалобно, словно испрашивая поддержки. Крамской с удовольствием посмаковал мысль о том, что Жанна до сих пор принадлежит ему и смотрит все еще снизу-вверх, а потом подумал с ленцой, что не стал бы помогать никому деньгами, а в такой вот трогательной просьбе отказать, прямо скажем, непросто.

«Давай, знаешь, сделаем ему посылку», – предложил он, тут же вспомнив об одном своем приятеле, которого не видел много лет. Тот тоже жил теперь на берегу Волги и в последнем своем письме, случившемся уже бог знает когда, просил Николая о том же, о книгах – в обычной своей дурашливой манере.

«...Да, и пришлите книг, Николая», – писал приятель, и было там еще что-то смешное, а он конечно забыл о нем, замотавшись, и это стыдно, и никуда не годится. Крамской покачал головой, уйдя в свои мысли и вовсе перестав слушать Жанну Чижик, а очнувшись, понял вдруг, что та смолкла и смотрит на него с откровенным прищуром. Все было привычно и знакомо, и время текло витиевато, как раз так, как им обоим хотелось. Спесивый мегаполис остался снаружи, наваливаясь своей тяжестью на других, до которых им не было дела. Николай успел еще подумать, что любое равновесие капризно и требует постоянного присмотра, а потом встал, подошел к Жанне, и она протянула ему руки, не отводя глаз, ставших вдруг совершенно бесстыжими, но все еще прячущих в глубине зрачка чуть заметный лукавый блик.

Впрочем, блик мог и привидеться случайно, – размышлял он потом, выйдя в теплую ночь, – а если не привиделся, тем лучше: быть может потому его и не мучит мужская ревность. На душе было легко, жизнь казалась вполне терпимой, он ощущал теперь власть над жизнью – где-то даже назло всемогущему вселенскому организму – и холил ее в себе, как еще утром пестовал мысли, навязанные будто бы извне. Что ж, этим быть может различаются времена суток, – пробормотал он вслух и даже прошел пешком несколько кварталов, хоть окраины в этот час были небезопасны для прохожих. Потом из подворотни что-то бросилось наперерез и исчезло за мусорным баком. Николай споткнулся от неожиданности и, не желая более испытывать судьбу, вышел к проезжей части и поднял руку.

Уже в машине, скрипучем «Форде» грязно-белого цвета, он вновь вдруг вспомнил о приятеле с Волги – они вместе когда-то продавали голландцам «Технологию Т», но потом пути их разошлись. Приятель быстро потерял часть денег и вернулся в родной Сиволдайск, решив заняться литературным трудом. Николай подумал внезапно, что был бы не прочь его повидать. Мысль эта долго вертелась в голове и даже приняла практический оборот, чему

способствовали и вечер, проведенный с Жанной Чижик, и ее откровенный взгляд. Было жаль, конечно, что она родом из другого города, но и Сиволдаиск казался связанным с нею. Там, наверное, представлял себе Крамской, бродят по улицам толпы провинциалок – они подобны ей и в то же время слегка другие. Да нет, не слегка – совсем, совсем другие. Разные, загадочные, неведомые – но с таким же прямым бесстыдным взглядом.

Глава 7

Всю следующую неделю с Елизаветой Бестужевой происходили странные вещи. Кто-то окликал ее в толпе, называл по имени, подобравшись совсем близко, и она оглядывалась – сначала испуганно, а потом с досадой – но голос не мог принадлежать никому из тех, что шагали мимо, не замечая незнакомку. Она тогда чувствовала себя еще более чужой и городу, и прохожим, на сигналы извне будто накладывалось вето, и скромное помещение турбюро представлялось спасением – как укрытие от непрошенных радиоволн. Но и там не было покоя: компьютер выдавал по утрам целую пачку электронных писем, отправители которых имели странные адреса, разные каждый день – и не возникало сомнений, что у нее не могло завестись такого количества виртуальных знакомцев. В посланиях были все больше фото – шикарных, роскошнейших цветов, от которых будто даже доносился запах. Елизавета привыкла к ним через несколько дней и дулась на грубоватую Марго, называвшую их презрительно «гениталиями растений» – наверное потому, что испытывала к компаньонке легкую зависть. Однако, и привыкнув, она не могла не признать, что цветы, пусть красивые, но совершенно необъяснимы – а потом, в довершение всего, стал пошаливать и автоответчик. Кто-то звонил ей домой днем, в неурочное время, когда она не могла снять трубку и отвалить наглеца. На пленке оставались не слова, а покашливания и вздохи, что было совсем уж неприлично, хоть вздыхали, признавала она, без чувственного надрыва, а скорей с печалью и смиренной тоской.

Но более всего Елизавету нервировала слежка. Иногда ей казалось, что тот самый глаз с витрины на Солянке плывет за ней в мареве городского лета – взмывая над крышами и лавируя меж зданий, отпихивая ветки и чахлую листву, слезаясь от выхлопных газов, щурясь на ярком солнце. Это, впрочем, было безобидной фантазией в сравнении с происходящим на самом деле: за ней следили совсем уже открыто, она давно заметила наблюдателя и стала узнавать его в лицо. У нее будто сделалась чуткая кожа – она вздрагивала порой, как от прикосновения, ощущая на себе чужие зрачки. Этот человек следовал за ней везде, словно на невидимом поводке. Он был настойчив и неутомим, как хищник, преследующий добычу, и Елизавета недоумевала даже, почему он не пускает в ход зубы и когти – она достаточно беззащитна и не сможет дать отпор. Бывало, ей становилось невмоготу, она разворачивалась вдруг и шла к нему, расталкивая прохожих, намереваясь строго расспросить, а то и устроить сцену, заранее злорадствуя при мысли о том, как неловко будет сейчас этому нахалу. Но тот всякий раз ускользал, без труда растворяясь в толпе, оказываясь неуловимым, как и подобает хищнику, да и по части сцен Елизавета не отличалась умением, старательно их избегая всю свою сознательную жизнь.

Филер за эти дни тоже по-своему к ней привык, изучил ее расписание и маршруты и считал, что они знакомы давным-давно. Бродя за ней по московским улицам, он смаковал с приятной грустью их временную тайную общность, представляя себя рыцарем в изгнании, не смеющим подойти вплотную, хранителем ее покоя, всегда готовым прийти на помощь, хоть это и не входило в список его забот. Елизавета нравилась ему все больше, но, при том, бизнес был на первом месте, и он знал наверняка, что никакая симпатия не помешает ему выполнить инструкции до последней буквы. К счастью, инструкции эти были вполне безобидны, и потому он отрабатывал выгодный заказ без лишних волнений и душевных мук.

Для приятелей и знакомых он был просто Димон, так к нему обращался каждый, не задумываясь даже, псевдоним ли это или же настоящее имя, которым его звали, когда он еще не был бесплотной тенью. Он вырос в рабочем Лианозово, в смрадной духоте пятиэтажек, в сырости и грязи дворов-ловушек, которые тонули в облаках дыма из огромных заводских труб. Это был странный мир со своим особым многоцветьем – ядовитой зеленью и лужами,

отдающими рыжиной, желтой коростой на трубах и розоватым мхом, гнездящимся в швах блочных «хрущевок». Выжить в нем, казалось, могли только наглые птицы и стаи бродячих собак, опасных, как гиены, но жизнь и тут была ключом – со своими кумирами и страстями, поножовщиной и любовью, жестокими нравами и пьяным бытом, в котором Димон ощущал себя неплохо, стыдясь лишь рязанского происхождения, всегда служившего мишенью для шуток. В Рязани до сих пор жили его сестра и тетки с дядьями, он любил ездить туда на праздники, волоча с собой по привычке объемистые сумки с провизией, но в московской жизни стеснялся своего круглого лица и чуть заметной провинциальности, от которой никак не мог избавиться. В свободное от работы время он старался выдерживать какой-то «стиль», питал любовь к цветастым рубашкам и сам укладывал волосы феном, взбивая заливчатый кок, но что-то ускользало, он чувствовал, что играет в чужую игру и стремится к невозможному. Успокаивался он, лишь вновь выходя на задание, типизуясь и растворяясь, если ставилось такое условие, или, напротив, все время маяча на виду, как в случае с Елизаветой, обретая самый средний из возможных обликов, в котором только и был залог успеха.

Трудно поверить, но когда-то, в компании лианозовской шпаны, он вовсе не отличался незаметностью, имея непримиримый нрав и вражду по поводу и без, отстаивая принципы до мелочей, даже и не видных прочим. Его не смогли переделать ни законы дворовой стаи, ни армия, ни первые любви – сильные женщины, подавлявшие Димона во всем. В нем была крепкая сердцевина – она сохранялась нетронутой с юных лет, во многом доставшись от родителей, спокойных русских людей, всегда уважавших тех, кто рядом, и готовых поделиться, даже в ущерб себе. Быть может оттого он оказался на обочине преуспевания, вечно занимая неудобные места и не умея оттолкнуть локтем или, того хуже, соврать в глаза. Какое-то время он еще пытался «выбиться», сходясь то с одним, то с другим из бывших друзей, равнялся с ними, напрягал мускул и набирал воздуха в грудь, но ему всегда доставались крохи, зачастую вместе с насмешкой. Как-то раз, раздосадованный очередной неудачей, он изрядно набрался в третьеразрядном клубе, проснулся утром в чужой машине без телефона и пиджака, вышел, хлопнул дверью и зашагал наугад по незнакомым дворам, не представляя ни где находится, ни куда идет. Солнце едва взошло, город был тих и чуток, все казалось мистически-новым, будто порвалась связь с прошлым, и тайна жизни приоткрылась на миг, но через четверть часа он увидел вдруг перед собой аляповатую вывеску того самого клуба с сонным охранником у двери. Там, пожурив за забывчивость, ему вручили помятый пиджак, и даже телефон оказался во внутреннем кармане, и вообще все было тем же самым, и мутило от выпитого, и сильно болела голова. Именно тогда он осознал со всею силой, как бессмысленно бороться за место под солнцем, если ноги сами ведут по кругу, и в душе не рождается ничего, не испытанного уже когда-то. А осознав, избрал смирение, от которого было недалеко до той самой неприметности, что помогла найти надежную нишу, превратившись из привычки в профессиональный навык.

В четверг, проводив Елизавету до офиса в Малом Черкасском и зная уже, что сделал это в последний раз, Димон неторопливо брел по Театральному проезду в сторону гостиницы Метрополь и размышлял о том, что всякое ремесло таит в себе компромиссы. Задание было выполнено – почти до самого конца. День кончится, придет хмурое послезавтра в похмельной тяжести коротких выходных, и он заставит себя забыть эту женщину навсегда, более не вспоминая ни один из ее адресов, ни вообще сам факт ее существования. Таково неписанное правило – никаких продолжений «после», даже если слежка велась тайно, и риск оказаться узанным сводился к нулю. Так было и с другими «контрактами», к иным он привязывался еще сильнее и давно привык к горечи расставания, как и к любой неизбежности, подстерегающей тут и там.

Дойдя до Большого театра, филер перешел под землей к знаменитому скверу, символу однополый любви, сел на лавочку у фонтана и сделал два коротких звонка. Один – извест-

ному пожилому актеру, чтобы подтвердить договоренность, достигнутую ранее, а второй – знакомой сводне, всегда имевшей в распоряжении целую армию роскошных девиц. Она узнала его, и это было приятно. Он с удовольствием потянулся, запрокинув голову и удивившись на мгновение безоблачной синеве. Потом откашлялся, взял строгий тон и наказал прислать ему вечером брюнетку с большой грудью, разговорчивую и веселую, и не слишком склонную к полноте.

«Отдыхать будете?» – уважительно спросила сводня.

«Отдыхать», – подтвердил филер и дал отбой. «Отдыхать», – повторил он еще раз, просто так, чувствуя отчего-то, что и в самом деле очень устал.

В это время Бестужева сидела за рабочим столом и рассеянно перебирала флаеры, пришедшие с сегодняшней почтой, стесняясь признаться самой себе, что ждала от почты гораздо большего. Собственно, все последние дни проходили под знаком ожиданий, словно вестников перемен, что вот-вот случатся в ее жизни. Она не ощущала угрозы, но томилась неизвестностью – плохо спала, стала раздражительна и придирчива к мелочам. Мысли ее витали в самых дальних краях, с трудом возвращаясь к ежедневной рутине.

Больше всего Елизавета размышляла об одиночестве. Отчего-то, ей хотелось жалеть себя, чуть не до слез, хоть ничего трагического не было в ее судьбе. Все происходило в общем так, как ей самой представлялось правильным и разумным – если конечно не брать в расчет странности последней недели. Одиночество в смысле жизненного уклада вовсе ее не тяготило – напротив, на сегодняшний день она находила его комфортным и едва ли не единственно возможным способом устройства быта. Когда она забиралась с книгой на уютный диван, раскладывала вещи и распространяла свою ауру на все пространство небольшой квартиры, становилось ясно, прежде всего ей самой, что там не найдется места для кого-то еще.

Первый брак научил Елизавету не верить чужим представлениям о счастье и, быть может, продлился бы дольше, будь у них с мужем разные спальни и привычка стучаться, прежде чем войти. Конечно, большое чувство, что должно прийти к ней когда-то, вполне способно все переиначить, но в его отсутствие она не понимала, для чего терпеть неудобства и менять комфорт на мнимые радости совместного проживания, о котором порой заикались ее мужчины. Однако теперь, когда течение жизни оказалось вдруг нарушено, она преисполнилась сомнений во многих вещах. Ей захотелось чьего-то присутствия рядом – и днем, и ночью, и вообще всегда – а внутренние ее миры сжимались порой в комок, затаившись и не подавая признаков жизни. Пустая квартира сделалась неуютной, звуки и шорохи – пугающе чужими, и даже мебель, которой было совсем мало, стала выказывать нрав и обрела острые углы.

О своем нынешнем любовнике она позабыла напрочь. Тот недоумевал и звонил каждый день, но Елизавета всегда была до крайности холодна с мужчинами, к которым теряла интерес. Они переставали для нее существовать, словно отделенные прозрачной стеной. Она не тратила сил на выяснение отношений, ничего не объясняла и не отвечала на упреки – не из бессердечия, а оттого, что подобные разговоры доставляли ей невыносимые муки. Это их подавляло, они становились жалки и даже плаксивы иногда, изощряясь в мольбах, которые, конечно, ни к чему не вели. Елизавета не могла им помочь и желала им лишь, вполне искренне, поскорей найти утешение в ком-нибудь другом.

Теперь же утешение требовалось ей самой, но для этого, конечно, не годился ни один мужчина. После некоторых раздумий она отправилась к Хельге – двоюродной тетке, зачем-то переделавшей имя на немецкий лад, что многие считали непозволительным и говорили даже, что Ольга-Хельга слегка тронулась умом. Она жила в Ясенево, у самой кольцевой. К ней нечасто добивались гости, а Елизавета была гостьей желанной, любимой с детства,

так что встретили ее радостно, расцеловав в щеки и напоив чаем со степным медом. От чая тетка покраснелась и даже похорошела, но Елизавета отметила с жалостью, что Оленька, как она называла ее про себя, стареет лицом, не имея мужчины, хоть ее улыбка, а значит и душа, становится все моложе.

Проблема Елизаветы вызвала у тетки самый живой интерес. Она долго выспрашивала, что и как, особенно про цветы и тоскливые вздохи, потом достала карты и выложила их на стол, но те молчали, то ли что-то скрывая, то ли и впрямь не умея помочь.

«Злой дух кружит, – сказала Хельга, пожевав губами, – злой дух-соблазнитель. Асмондеем кличут или еще Дефиортом, но твой – точно Асмодей, шепчет в ушко, а лица не кажет. Сейчас я тебя заговорю».

Она обняла племянницу и долго бормотала у нее над плечом, а потом дала с собой немного темной жидкости в аптечном пузырьке. «Вошанку поставь в изголовье, да не бойся. Это чертополох, не будет вреда, а больше и не знаю, чем тебе помочь, – добавила она на прощанье. – Вот придет зима, будет первый снег, так умоешься с серебра снеговой водой. У меня и блюдо есть, настоящее, старинное. А сейчас – ничего, терпи, Лизочка, бог даст – пронесет».

«Если и впрямь соблазнитель, то до зимы-то он уж меня соблазнит сто раз», – рассмеялась Елизавета, но распрощалась с Оленькой тепло и ушла, будто успокоенная немного. Она даже помахала рукой филеру, привычно трусившему следом и подумала озорно – уж не он ли Асмодей? Но к вечеру на сердце вновь стало тревожно, а ночью снились дурные сны, несмотря на вошанку, мутную на просвет, которую она послушно примостила у края кровати.

Помимо тетки, Елизавета решила довериться и единственной подруге, претендующей на статус близкой. Та, в отличие от Хельги, была не склонна к мистицизму и искала в явлениях предметный базис. Они пили сладкий мате в кофейне на Садовом под аккомпанемент внезапного летнего ливня, ловя боковым зрением мужские взгляды. Кофейня, открытая недавно, не успела еще обрести своего лица, а эклектика дизайна, поневоле настраивала на несерьезный лад. Все здесь казалось игрой – японские картинки, кальяны на подставках, вымпел мадридского футбольного клуба над барной стойкой – Елизавета не удивилась бы даже, увидев на своем соглядатае цилиндр или шутовской колпак. Но тому было не до шуток, он мелькнул за стеклом в обычном своем неприметном облике, метнулся куда-то в сторону, скрываясь от крупных капель, и через мгновение в окне остались лишь грязно-серые силуэты высоток Нового Арбата, похожих на раскрытые книжки, зачитанные до дыр.

Подруга носила пролетарское имя Зоя, что удачно сочеталось с фамилией Климова, доставшейся от супруга. Впрочем, и девичья ее фамилия тоже звучала в унисон, сразу вызывая в воображении папашу-военного, комсомол и российскую глубинку. Все примерно так и было, они переехали в Москву из Тамбова благодаря запредельному усилию, предпринятому родителем перед самой отставкой. Ввиду прихода новых времен, комсомольская романтика коснулась Зои совсем чуть-чуть и не смогла излечить от застенчивости и девичьих комплексов, но потом, выскочив замуж, она освоилась и научилась управляться с противоположным полом. Теперь Зоя Климова знала себе цену, и ее непросто было сбить с толку. Лишь изредка остатки неуверенности напоминали о себе беспричинной экзальтацией, а то и ступором речи, случавшемся, если ее перебивали невпопад. Это казалось ей очень стыдным, так что говорить она старалась много и, по возможности, без пауз.

Выслушав Елизавету, Зоя погрузилась и насупилась. Она всегда считала подругу легкомысленной чересчур и не понимала, почему та не желает этого признать. «Забудь, – сказала она, – это тебя за нос водят. Ничего хорошего не будет, лучше в милицию заяви. Может повезет, познакомишься там с начальником милицейским – будешь вся в шоколаде...»

Вскоре стало ясно, что разговора не выйдет – в довершение к несовпадению взглядов у Зои случились проблемы с мужем, и она не могла думать ни о чем другом. «Он не любит моего кота, – говорила она, сторбившись и опустив плечи, – злится, кричит, угрожает выгнать – я вообще не нахожу себе места. Кот такой домашний, у него диета и подпиленные коготки. Все на улице обалдеют, когда увидят такое – ему туда нельзя, он пропадет. Он давно привык спать со мной вместе, стал неженкой и ленивцем. Жаль, мужчины не понимают таких вещей, им кажется, что все послушно их воле. А кот, понятно, его презирает, у кота достоинства куда больше...»

Лиза слушала ее час и другой, а потом ей все это надоело, и она поднялась было, чтобы уйти, но подруга вцепилась в нее мертвой хваткой, разрыдавшись тут же, на виду у всех. Пришлось успокаивать ее до вечера, заказав уже не мате, а текилу и джин, но та все равно была недовольна и сказала на прощанье какую-то гадость. Это было вчера, теперь Елизавета сидела нахмурившись и мрачно думала о том, что подруги, вообще, никуда не годятся. Беспечная Марго поглядывала на нее осторожно, но расспрашивать не решалась, зная уже, что у компаньонки временно испортился характер. Часы недавно пробили полдень, приближалось время обеда, и тут случилось наконец событие, положившее конец неизвестности: Елизавета Бестужева получила Письмо.

Сначала раздалися шаги – кто-то шел от лифта в сторону их открытой двери, и хоть само по себе это не могло удивить, обе девушки, как по команде, замерли и насторожились. В шагах было что-то, выдающее непреклонность намерения – сама судьба могла бы иметь такую поступь, доведись ей когда-то прогуляться по этому этажу. А через мгновение незнакомец объявился в дверном проеме, и у Марго вырвалось невольное «А-ах!»

Дело было даже не в том, что фигуру вошедшего облегал темный плащ, неуместный в июльскую жару, и не в локонах парика, черных, как уголь, обрамлявших его худое лицо. Дело было в том, что у них в дверях стоял знаменитый актер, любимый некогда всенародной любовью, да и сейчас все еще бывший на виду. Встретить его здесь, в неприметном бюро путешествий, казалось столь невероятным, что Маше Рождественской хотелось щипать себя за бедро или колоться булавкой. Елизавета тоже оторопела сначала, но в целом оставалась вполне спокойна, будто зная, что незнакомец явился по ее душе, да и не мог не явиться – только, почему-то, слишком долго ждал.

Человек в плаще, тем временем, не спеша осмотрелся, учтиво и с достоинством поклонился каждой из компаньенок и заговорил, обращаясь непосредственно к Елизавете. «Имею честь передать послание госпоже Бестужевой, – сказал он негромко, но заполонив словами все пространство. – Это без сомнения Вы – взглянув на Вас, поверьте, никак нельзя ошибиться. Потому – примите это письмо и простите великодушно за внезапное вторжение среди рабочего дня».

Он достал из-под плаща белоснежный конверт и протянул его Елизавете. Та поднялась со стула и взяла письмо, поблагодарив улыбкой и взмахом ресниц. Секунду или две они глядели друг на друга. У Елизаветы кружилась голова – все его движения и слова, и хрипловатый обволакивающий голос были исполнены такой сдержанной силы, что она не могла противиться наваждению. В комнате будто возникла иная реальность, созданная им за один лишь миг, и она не могла позволить себе сфальшивить, допустив неверное слово или жест.

«Вы очень любезны, – сказала Бестужева наконец, стараясь, чтобы голос не дрожал, – но кто же он, таинственный отправитель? Согласитесь...» – тут она смешалась, а незнакомец сдержанно улыбнулся, потом наклонился и поцеловал ей руку. Он верил в мощь своего обаяния, как и обаяния таланта вообще, и умел ценить отклик, не оскорбляющий нежеланием эту мощь признать. Елизавета нравилась ему, он подумал мельком, что из нее вышел бы толк, но тут же оборвал себя – это не его дело, да и сколько таких еще – хорошеньких,

умненьких, с врожденным благородством. Нынче, правда, их трудно разглядеть – трудно, да и недосуг...

«Не стоит беспокоиться, – проговорил он с чуть лукавой усмешкой. – Есть основания полагать, что намеренья отправителя безупречны. Имею честь».

Он вновь поклонился обеим девушкам и вышел, не оборачиваясь. Елизавета стояла и напряженно смотрела ему вслед. Вскоре послышались шум лифта, хлопанье дверей, и все стихло. Только тогда она перевела взгляд на письмо и нерешительно пожала плечами.

«Ну и ну! – громко сказала Марго. – Нет, ну это просто... Ну что ты застыла, как соляная статуя, давай читай!»

«Да погоди ты, – отмахнулась Елизавета, повертела конверт в руках и прошлась по комнате взад-вперед. – Дай хоть ножницы, что ли...»

Потом в офисе повисла звенящая тишина – да и право, таинственное письмо стоило того. В самом его начале отправитель называл себя, и у Елизаветы сразу зарделись щеки, хоть она почти не вспоминала о Тимофее последние несколько лет. Но теперь, когда сенсоры восприятия стали чутки до предела, а душа жаждала разгадок, любая определенность казалась желанной, как знак к раскрытию всех прочих тайн. Сердце ее стучало, как у испуганной куницы, хоть она была не из пугливых и не отличалась робостью чувств. Напряжение в воздухе еще сгустилось, словно перед грозой. Электричество щекотало веки, и на глаза наворачивалась непрошенная влага.

С первых строк Тимофеем признавал вину, затем нещадно себя казнил, потом же – искусно выводил из всего надежду на еще один шанс. Он был скуп на красоты, старательно избегая штампов, но кое-где сквозь суровую простоту и сдержанность прорывалась нешуточная страсть, очевидно жившая в нем все годы их разлуки. Тут же, не жалея красок, живописал он свои достижения и успехи, приведшие, что скрывать, к завидному благополучию. Только вот сердце... – и он обрывал себя, – только душа... – и вновь запинаясь, как бы не решаясь продолжить. Потом, решившись наконец, выкрикивал все же заветные слова и замолкал, опустошенный, удивленный даже чуть-чуть собственным красноречием и жаром, но твердо стоящий на своем, знающий, что пути назад уже нет.

Да, письмо производило впечатление – еще быть может и оттого, что писал его профессионал, обладающий немалым мастерством. Тимофеем Царьков заплатил ему, не скупясь, полагая, что так выйдет лучше в смысле конечного результата. Результат и вправду получился отменным – он и сам чуть не прослезился, прежде чем заклеить конверт, и Елизавета сидела теперь в странном оцепенении, вся во власти магических слов. Потом она еще раз перечла написанное, внимательно рассмотрела прилагавшийся тут же железнодорожный билет, убрала все в сумочку и глубоко вздохнула.

Она даже не была удивлена – чему удивляться, в самом деле, просто нужно быть честнее с самой собой. Ничего ведь так и не случилось с той юношеской поры – ничего, походящего хоть как-то на то огромное, что грезилось в туманном далеке – а ведь ей уже не так мало лет. И посещала, посещала мыслишка, что вот тогда-то они как раз и прозевали настоящее – по молодости, по глупости, по неведению... По крайней мере, он нашел в себе смелость признать это первым – если конечно не врет, ну а с чего ему врать? Никто ведь не тянул его за язык, а получить с нее нечего, кроме нее самой.

«Понятно, понятно», – пробормотала Бестужева чуть слышно, потом потерла висок и покачала головой. В хаосе странностей и тревог обнаружилась точка опоры – этого нельзя было не признать. К ней очевидным образом как раз и вели все странности и тревоги. Все ли? Может и те, что были раньше? Пусть наивно, но и в это хочется верить иногда...

Она произнесла про себя его имя и прислушалась осторожно. Неприятного не случилось, даже напротив – хотелось улыбаться, и совсем не было давней злости. Мысль о том, чтобы очутиться вдруг с ним рядом, естественным образом пришедшая следом, тоже пока-

залась не такой уж глупой – и даже волнительной слегка. Не очень было ясно, при чем тут Сиволдайск, и что он делает так долго в такой глуши, но эти мелочи, конечно, не могли отвлечь от главного, только и имевшего смысл. Елизавета закрыла лицо руками, чувствуя, что губы растягиваются-таки в улыбке, а румянец на щеках становится еще ярче.

«Ну что, подруга? – не выдержала Марго, извертевшаяся за своим столом. – Давай, рассказывай, не томи душу».

«А что рассказывать – в гости зовут, – безмятежно откликнулась Елизавета. – Давний друг, ты его не знаешь. А еще – в отпуск я иду. С послезавтра...» – и больше не проронила ни слова, разочаровав компаньонку до глубины души.

Глава 8

Офис Николая Крамского располагался на углу Камергерского и Тверской, в двухкомнатной квартире старого пятиэтажного дома. Квартира досталась ему в аренду от одного из клиентов, давно разбогатевшего и уставшего от удовольствий, а потому – решившего озабочиться поиском вечных истин. Не так давно он оказался в Китае, где на него повеяло-таки чем-то вечным – в последнем письме бывший клиент сообщал, что не намерен возвращаться в течение нескольких лет. Это было большой удачей – Николай платил совсем немного для такого завидного местоположения, особенно теперь, когда Москва пухла от шальных денег.

Окна офиса выходили прямо на кассы МХАТа. С декоративного балкона можно было попасть окурком в памятник Чехову, провинциальному врачу и моралисту, взирающему утомленно на пожирателей скверной пиццы, теснящихся за столиками у самого постамента. Дальше, за кассами, высились шедевры монументальности, безвкусно исчерканные красно-желтыми лого местных хозяев мобильной связи. Эклектика достигла здесь вершин абсурда, тревожа намеком на вселенский хаос, но дом стоял прочно, а железная дверь подъезда не пропускала посторонних, ограждая от тревог. После реставрации и капитального ремонта здание хотели прибрать к рукам чиновники вездесущего мэра, но остались ни с чем – среди квартирных собственников оказались весьма серьезные люди. Яростная силовая атака встретила не менее жесткий отпор, кое-кто, по слухам, прилично обломал на этом зубы, и в результате все признали, что передел собственности тут уже состоялся – до следующей мощной мутной волны.

Клиентура Крамского была непроста – оттого наверное, что все его бизнесы тяготели к экзотике, не слишком понятной массам. Нынешний, связанный с генеалогией и геральдикой, привлекал, как правило, солидных людей, желающих утвердить в наглядной форме неясные порой нюансы происхождения. «Прикоснуться к корням» или «припасть к истокам», как Николай называл это при знакомстве, или же просто «получить доказательства», как он определял это потом, когда речь заходила о конкретном деле. Дела эти были достаточно щекотливы, а за прочие он и не брался, оставляя рутинный поиск конкурентам, сидящим под крылышком у государства. К нему приходили люди, разочарованные итогом, те, кто заплатив уже немалые деньги и прождав порой не один год, получали либо не то, что хотели, либо не все, либо и не то, и не столько.

Тому могло быть множество причин – бреши в архивах, недостаток усердия, а порой и упрямство исторических фактов, выстраивавшихся не в ту картину, что виделась изначально. В любом из случаев Николай предлагал помощь, обещая все сделать быстро, убедительно и по разумной цене. Он конечно отдавал себе отчет, что многие из требуемых «доказательств» просто не существуют в природе, и никогда не скрывал от клиента, что собирается выдумать историю заново, а не портить глаза понапрасну, читая в затертых следах минувшего. Но и тут же он убеждал с жаром, что любая правда все одно полна фальсификаций, а придуманные истории, знает каждый, бывают ничем не хуже настоящих.

А иногда и лучше, – с облегчением соглашался клиент, убедившись, что Крамской умеет заглянуть в самую суть вопроса, тем более что вопрос никогда почти не сводился к нагромождению откровенной лжи. Скорее, он состоял в шлифовке, скрупулезной чистке и сглаживанию кривых, а порой – всего лишь в добавлении скупых штрихов, замыкающих мозаику в единое целое. Это трудно было назвать подделкой в ее грубом, вульгарном смысле, тут шла игра полутонов и оттенков. Каждый шаг за незримую грань маскировался отскоком к вполне правдивым деталям, добытым добросовестными архивными крысами. Даже и взыскательному оку непросто было расставить истины по ранжиру и докопаться до тех из них, что находились по другую сторону условной границы. К тому же, нынешнее состояние

технических средств позволяло достичь многого и открывало пространство для маневра, ибо о подлинниках речь почти никогда не шла.

Это, быть может, отражало настрой современности, тяготеющей к суррогатам, или же просто давало понять, что человечество привыкает обходиться малым, но, в любом случае, существенно облегчало жизнь. Копии, как известно, на то и копии, что допускают вмешательство извне, способное их улучшить. Изогранный софт позволял делать удивительные вещи, далеко превосходящие потребности прикладной генеалогии. Николаю даже не приходилось прибегать к услугам каллиграфов, и вообще, это была несложная часть работы, пусть трудоемкая и нудноватая порой. Главное же заключалось в разработке стратегии хирургического вмешательства, способного с максимальным правдоподобием обеспечить нужный результат.

Требования к результату, отметим, заметно различались от заказа к заказу, равно как и клиенты, почти не повторявшие друг друга. Для одних смысл задуманного состоял в удовлетворении тщеславия, другие же имели практический интерес, иногда признаваясь даже, что в непроглядной тьме прошлого припрятан ключ к их нынешнему успеху. Последние платили щедрее, но были недоверчивы и капризны, и Николай намучался с ними, нащупывая решения, не вызывающие сомнений. Ему случалось помогать фабриканту, выживавшему конкурента, и потомственному магу, оклеветанному группой староверов. Приходили к нему и мелкие политики, возжелавшие прыгнуть выше головы. Самым же привередливым оказался биржевик, вступивший в связь с разбитной шотландкой, продолжательницей древнего рода, которой давно пора было замуж.

Эту историю вообще стоило занести в анналы, как практический случай торжества воображения. С профессиональной четкостью оценив за и против, биржевик напел рыжеволосой Мари о тщательно скрываемой семейной тайне, ставящей его в ряд с потомками русской знати, но столкнулся с бычьим упрямством ее папаша и братьев, не доверявших слову и требовавших наглядных свидетельств. Их можно было понять: шикарный по меркам Москвы коттедж на Рублевке никак не соперничал все же с родовым эдинбургским замком, а больше биржевику нечего было представить, если не считать российского паспорта и целого бункера наличных денег. Не привыкший отступать, он привлек к работе лучшие силы, но результат оказался чрезвычайно скромным – в нем отсутствовали патина веков и черты дворянского вырождения. Время шло, ничего не случалось, шотландское семейство нервничало и не возвращало звонки. Заметно приунывший биржевик готов был уже расстаться с мечтой о знатном союзе, но обратился-таки к Николаю, хватаясь за соломинку без всякой надежды, а тот придумал гениальный ход с эскизом фамильного герба, выполненным специальной тушью поверх рукописи семнадцатого века, которая все равно почти уже стерлась. Эскиз имел отдаленное сходство с логотипом фирмы, которой владел клиент, это было подано как продолжение традиций и с лихвой восполнило недостаток прочих данных в глазах шотландцев, чтящих традиции превыше всего. Образ презренного нувориша заслонили тени бородатых русских князей – тем более, что Мари и впрямь очень уж перерзела в девицах – так что у биржевика все потом пошло, как по маслу, а чем кончилось, Николаю узнать не довелось, да и расстались они во взаимном неудовольствии, разойдясь во мнении по поводу выставленного счета.

Нынешний его клиент скупостью не отличался и сам предложил задаток, достойный если не биржевика, то, по крайней мере, преуспевающего купца. Он разыскал Николая через газету, объявился лично, но потом пропал, чтобы, по собственному его выражению, «навести справки», потому что Москва, известно, полна мошенников и ловкачей. Наведение справок заняло без малого месяц и, по-видимому, удовлетворило клиента – по крайней мере, он сразу перешел к главному, без увиливания и недомолвок.

Суть проблемы заключалась, как и всегда, в личности дальнего предка, но тут все было проще на первый взгляд, ибо предка своего заказчик прекрасно знал. Он был уверен, что происходит от русского разбойника Пугачева, о чем свидетельствует и его фамилия – Пугин – лишь чуть-чуть искаженная временем или боязливым дьяком, а также прочие факты, не слишком убедительные порознь, но дающие ясную картину, если сложить их вместе. Интерес к прошлому возник у Пугина как побочный результат чтения романов, к которым его приобщила молодая супруга. Начинал он неохотно, но потом увлекся, вошел во вкус и обнаружил вдруг, что собственная его жизнь, полная поражений и побед, имеет немало общего с судьбами персонажей, тела которых давно обратились в прах. Это был повод гордиться собой, до того не приходивший в голову ни ему самому, ни приятелям, любящим пускать пыль в глаза, и Пугин использовал его сполна, почуяв перспективу, далеко превосходящую по размаху привычные новорусские «понты». Он проглатывал книгу за книгой, пролистывая скучные места, и без усталости примерял себя к эпохам и странам – будто в поиске подходящей точки на лубочной карте пространства-времени или собратьев, живших когда-то, близких по духу, если уж не по крови.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.